

АЛЕКСЕЙ МЕХОНЦЕВ

РАЙГОРОД

АЙДА С БОГОМ

ПОВЕСТЬ В РАССКАЗАХ

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ СТРАННОСТИ

РАССКАЗЫ

Курган
2014

Алексей Андреевич Мехонцев мало известен искушенному зауральскому читателю. Должно быть потому, что все свои произведения публиковал в местной (шадринской) прессе, не выпячиваясь и не гордясь. А быть может потому, что его литературные труды носят форму жизненных зарисовок, порой идущих вразрез с общепринятыми правилами классических канонов рассказа.

И, тем не менее, они пользуются определенной популярностью в литературной среде. Тем, что жизненны; тем, что трогают за душу проникновенными повествованиями о послевоенном детстве, безотцовщине, тяжелом крестьянском труде с малолетства; рассказывают об испытаниях, психологических и физических треволнениях автора и близких ему людей.

Это первая книга Алексея Андреевича Мехонцева, издаваемая официально.

*Книга издана
по заказу и на средства Правительства области*

ОТ АВТОРА

Родился в шадринском род-доме – 20 апреля 1944 года. Детство прошло в совхозе им. Буденного (ныне деревня Октябрь, Шадринского района). В 1962 году окончил Шадринский автомеханический техникум. Работал инженером-конструктором в городе Комсомольске-на-Амуре, Свердловске, Шадринске. Три года служил в армии в городе Николаевске-на-Амуре в ракетных войсках. Сержант.



С 1968 по 1970 г. занимался в изостудии ДК им. Горького у известного педагога-художника Губернаторова Ф.В. в городе Свердловске. В 1976 году окончил Нижне-Тагильский педагогический институт, художественно-графический факультет. 12 лет преподавал рисунок, живопись и композицию в Шадринской художественной школе. 12 лет преподавал в Шадринском педагогическом институте на художественно-графическом факультете. 10 лет работал художником-конструктором в отделе главного конструктора на Шадринском автоагрегатном заводе. Участник более 40 выставок.

В 2006 году участвовал во Всероссийской выставке акварели.

Параллельно с занятиями живописью, графикой и керамикой увлекаюсь литературным творчеством. В 1994 году вышла первая книга рассказов о природе – «От капли до капли», в 1996 году вторая – «Все пережили», в 1997-м третья – «Устремление» (стихи), в 2002-м четвертая – «К источнику», в 2004-м пятая – «Айда с Богом!», в 2006 -м шестая – «Сердечные ритмы», все книги с авторским оформлением. В 2007 году – принят в Союз художников России. В 2009 году – принят в Союз писателей России.

В 1999 году сделал персональную выставку в Музее изобразительных искусств в г. Екатеринбурге – 120 работ (60 – живопись, 60 – керамика).

О моем творчестве сняты видеофильмы Шадринским, Курганским и Свердловским телевидением.

СУДЬБА ЕМУ БЫЛА УГОТОВАНА С ИЗЛОМОМ

Щедр на талантливых людей край шадринский. Мы по праву гордимся именами Бронникова, Шадра, Носилова, Мальцева. Однако рядом с нами живут не менее интересные люди, о которых в будущем наверняка будут писать с любовью и восхищением. Так давайте их ценить при жизни, отдавать должное творчеству одаренных земляков.

...За всем многогранным творчеством А.А. Мехонцева видится труд, ежедневный, кропотливый, порой мучительный, но такой вдохновенный. Выставки картин художника, представленные серией пейзажей, натюрмортов, так и светятся любовью к отчему краю, греют душу своей искренней и неброской красотой. Л. Овчинникова, В. Иовлева, Л. Осинцев, Г. Медведева, Ф. Русакова, А. Бритвин и др. единодушно отмечают, что литературное творчество Алексея Мехонцева наследует лучшие традиции М. Пришвина и К. Паустовского. С теплотой вспоминают невыдуманные рассказы А. Мехонцева «Все пережили», вышедшие в 1996 году. В них колоритно переданы шадринский говорок, все нюансы нашего зауральского быта и, право, жаль, что книга не востребована широким кругом читателей, особенно молодыми, да и учителя словесности и истории в школах могли бы с успехом взять ее в свой багаж.

Вся личная и творческая судьба Алексея Андреевича – это преодоление и устремленность в будущее. Идет он через настоящие тернии к своей Мечте: чтобы на земле, в том числе и Шадринской, появилось как можно больше родственных душ, тогда создастся огромное положительное биополе и приблизится эпоха Света, Любви и Гармонии. А пока утверждением красоты поэт А. Мехонцев приближает эту мечту:

*...О Русь! Ты Родина моя!
Мне Бог тебя с любовью дал!
И чтоб нам Родину понять –
Три слова надо вспоминать:
Любовь, Россия, Святость...*

Самой большой оценкой благодарных почитателей таланта мастера можно считать признательность за то, что он возвращает нас в детство: будь то бабушкины рассказы или новые стихи о лугах и плесах, картины с натуры или разноцветные игрушки из глины. Спасибо Вам, Алексей Андреевич, за лучезарную радость таких встреч и новых Вам творческих озарений!

О. ОСИПОВА,
корреспондент газеты
«Шадринский курьер»

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО К КНИГЕ “АЙДА С БОГОМ”

ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ КНИГА

Чем же она притягательна? А тем, что написал ее неизвестный пока в широких читательских кругах, но самобытный литератор-деревенщик Алексей Мехонцев.

Родился он и вырос на землях совхоза «Красная Звезда», а раньше это был совхоз им. Буденного, который в народе звали Буденное, но это название больше относится к поселку, теперь деревня Октябрь. Совхоз строился на новом месте, но сначала возводили свинарники, а о людях как-то забывали: видно, не принято было заботиться о них, вот и стали они рыть себе ямы под землянки на берегах оврага. Мать Алексея — Анастасия Семеновна Задорина, рабочая совхоза, купила такую землянку в 1949 году, когда сыну было уже 5 лет. С этого времени и началось его познание жизни трудового сельского народа.

После землянки была мазанка, построенная сосланными сюда молдаванами; как известно, Сталин любил высылать народы... Это потом уже мать купила деревянный домик, когда сын служил в армии.

Алексея, как будущего художника, радовало неисчерпаемая, вечно меняющаяся, переливающаяся и пьянящая живопись природы, ее буйное разнотравье. Неизгладимое впечатление оставляли в душе кучевые облака, зловеще подсвеченные закатом, они вызывали сказочные образы... несмотря на бедность окружающего быта, мальчик счастливо рос среди деревенских игр, ловил решетом или майками золотистых карасей и темных гольянов, налегов на совхозный яблочный сад. Но тогда же приучался к труду: полол картошку, возил копны на сенокосе. О школе

автор как-то пишет мало, видимо ее казенщина не очень-то привлекала. Консерватизм школы известен еще с царских времен.

Я и раньше знал из книг Алексея, с какой трепетной любовью он относится к своей матери, всю жизнь работавшей на фермах. По отрывочным воспоминаниям, разбросанным в этой книге, создается впечатление, что она воспитывала сына добрым сердцем и добрым словом, и он отвечал ей добром. После школы — техникум, институт, служба в армии, т.е. Алексей часто отлучался из отчего дома. И куда бы он ни уходил, мать всегда его напутствовала:

– Айда с Богом!

И вот эти нетленные, вечные слова и стали названием его книги.

Часто бывая вне дома, он родину свою не забывал и самого дорогого на свете человека. В книге также рассказано о деде Семене и бабе Дуне, которые помогли матери поднять внука на ноги, о другой родне, друзья детства, у некоторых из них сложилась трагическая судьба...

Я книгу прочитал не отрываясь и мне, как выросшему в деревне, было дорого в ней многое. Правда повесть писалась во времена ельцинской перестройки, поэтому автор не мог пройти мимо горьких нюансов капиталистической родины..., но некоторые страницы написаны светло, взволнованно, и на них Алексей Мехонцев поднимается до высот художественного описания нашей неординарной действительности. И я рад за его правдивую, лирическую повесть. Наконец-то я вижу в наших краях писателя-реалиста.

Леонид ОСИНЦЕВ
заслуженный работник культуры России

ОТЧИЙ ДОМ

Меня разбудил ароматный запах только что испечённого домашнего хлеба. Надо вставать. Это мама уже пирогов напекла. Картовных да ягодных; и румяные пышные калачи тоже на столе красуются. Камин топится, пощёлкивают осиновые полешки. Двери из избы открыты. Со двора тянет утренней свежестью. В чистом воздухе запахи хлеба ещё вкуснее и роднее. Мама всегда стряпает, когда я приезжаю к ней. От этого запаха остаются самые нежные, самые добрые воспоминания об отчем доме. О маме...

Мама иногда сетует: “Посмотришь в субботу – то у тех, то у других приезжают сыновья или дочери со своими ребятами, ни мороз, ни дождь их не держит. А тут жду, вот жду.... Настряпаю, нет никого... Я Пане снесу хлеба. Да Гале пирога или свежего калачика. Чё вы осердились ли чё ли на меня? Я ягоды не обираю, жду вас. Осталась вон ирга-то только возле окошка, а тут всё воробыи объели”.

Позавтракали. Молоко с пирогами – такая вкуснятина. Я пошел обирать иргу. Нынче её очень много уродилось. А черёмухи совсем нет. Смородина ещё не вся убрана, и малины много. Собрал ягоды и решил пробежаться до первого лесочка. Грибы посмотреть, есть ли они? Давно на родной стороне не бывал. Позвал с собой нашу собачку “Цыгана” и мы пошли. Возле болотца, за деревней, ещё вовсю цветёт разнотравье. Поскотина обильно заросла татарником. Его ярко-малиновые шишки цветут пышно, напоминая цвет затухающих углей.

Солнце начинает припекать. Пахнет душистым порезником, медуницей, горьковатой полынью и созревающими хлебами.

Захожу в лесок. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь листву, прячутся на стволах берёз, шевелятся едва белыми зайчиками. Ягоды костяники или вишни светятся

рубиновыми капельками среди зелёных и желтеющих листочков.

...Полыхнёт на иной берёзке пожелтевшая прядь листьев и резанёт по сердцу осенней грустью. Хоть и далеко еще до золотой осени, но от увиденных первых “седин” нахлынет такая щемящая тоска....

Напомнит о течении времени...

Об уходящем тепле...

ЗДРАВСТВУЙ, РОДИНА

Сколько себя помню в раннем детстве, всегда мои воспоминания крутятся больше возле землянок. Мы с мамой вдвоём жили в землянке до 1955 года; почти семь лет. У коровы тоже была вырыта землянка, там же и курицы жили. У нас в землянке была русская печь. Стол да кровать. Вот и вся обстановка. На середине стояла железная печка-буржуйка с трубой. Труба подсоединялась к дымоходу печи. И три окна под потолком. Два в ограду на восток, а одно на улицу на север. Мама с темна до темна на работе. Так мы с ребятами, с такими же как я, военной и послевоенной безотцовщиной, соберёмся у нас, топим железную печку-буржуйку, да печём на ней нерезаную пластиками картошку, посыпав её солью. Вкусно! А вечером сидим в темноте на тёплых кирпичах русской печи и рассказываем друг другу страшные истории. Да сухарики грызём. “Мешка два съели”, – как выразился Витя Кулаков, один из оставшихся в деревне моих друзей детства.

Совхоз им. Будённого был организован на пустом месте в 1932 г. Вначале мой дед с мужиками строили свинарники для свиней. Первые семьи переселенцев ночевали три ночи в этих свинарниках. Потом свиней привезли. Дело-то к зиме шло. Свиньи могут замёрзнуть. Людей выгнали из свинарников.... Кто куда на зиму разъехались, кто в Белоярку, кто куда. Другие стали по угорам возле

логов землянки рыть. Вот в них и жили. В совхозе стало два края. “Участок” – это наверху, где контора, магазин, чайная, бараки для одиноких свинок да сосновые дома для начальства. А внизу – у логов – “Землянки”. По обоим сторонам логов и были землянки настроены. Вот рабочее и жили в этих землянках.

Рассказывает моя мама:

– У нас на огороде всё еще пеньки были не выкорчеваны. Я говорю – вот урочину выполнишь, картошку до пенька выполнешь, тогда пойдёшь играть. Ты полешь, а Маня наша (младшая сестра мамы) пришла и говорит:

– Чё ты, Лёня, делаешь?

– Мама заставила картошку полоть, – ты ей отвечаешь.

– Давай я тебе помогу.

Помогла тебе. Ты прибежал:

– Мама, я выполол!

– Ну, теперь можешь бежать, поиграть.

Маня говорит:

– Ты чё это его рано заставляешь работать-то?

– Пусть привыкат, – отвечаю, – с малолетства надо приучать робить-то...

Баба Дуня вспоминает: “А мы приехали, дак етта только вот Жуков жил. А вон тут вот, какой-то Сапожников. Да поставлена изба Уфимцева Офони, тут вот к лесу-то. Да стерховский дом был. А етта никого не было. Лес был. Шипишник кругом. Весной-то как выйдешь, дак что есть зелено! Медуницы растут, – цветёт всё. Потом избу-то сюда перевезли, землю-то лопатой копать надо. Здесь пахать-то нельзя. Пеньки кругом, да корни всяки. Мы балаган сначала сделали, когда избы-то еще не было. Берёза густая стояла. Мы под ней и сделали балаган-то. И спали там все – Прасковья, Серёжка, Настасья, Тася, Шура, да Нюра. А Вали ещё не было.

В 1936 году мы купили в Белоярке маленькую избушку – одна комната на всех-то и перевезли в Будённое-то. По-

ставили. Отец ещё кухонку прирубил – три стены, да сенки построил. Валю я тут родила. Вот семерых в этой избушке и вырастили. Повернуться негде было. Спали и на полу, и на полатах, и на пече.

Моя мама добавляет:

– Да ты, Лёня, ещё тут мешался каждый день. Я пойду на работу и заведу тебя к бабе с дедом.

– Ты маленький был. Девки бабы Дуни все говорили, что ты, Лёня, квартирант. Нюра всё тебя квартирантом звала. До школы ещё годов пять-шесть тебе было. Девки придут из школы, сядут за стол обедать. Баба Дуня им по стакану молока нальёт. Нюра спрашивает: “Ты, Лёньша, ел, нет?”. Ты отвечаешь: “Нет”. И быстрее за стол. Тебе баба нальёт. Нюра и говорит: “У тебя в стакане-то таракан плавает”. Ты вылезешь из-за стола тут же. Не будешь есть. Заберёшься под стол и давай частушки петь:

*Таракан дрова рубил,
Муха песни пела.
Таракан башку срубил,
Муха заревела.
Чашечка деревянная,
Муха брюхо укусила
Окаянная.*

Девки смеются, заливаются.

– Дедко тебе лыжи сделал самодельные и говорит, чтоб ты принёс кринку сметаны. Ты пришёл домой и говоришь, что дедо просит кринку сметаны. Я налила. Ты повез на санках. Мария Коробицына уехала к дочери. Я эту землянку в 1949 году купила у ней за сорок пять рублей. Дедо в то время строил свинарники на второй ферме. Забежит по пути с работы к нам: “На Леня, тебе зайчик гостинец прислал”. Даст тебе маленький кусочек застывшего хлеба. Ты грызёшь. Довольнехонек!

...Может быть эти землянки и привили мне любовь к природе. К земле. Летом вся округа зарастала такими высокими травами, что мы с ребятами бегали в них как в джунглях. Тут и репейник-шишебарки с огромными листьями, и полынь, и конопля, и крапива, и донник, и череда, и березка-трава с белыми и розоватыми чашечками цветами, и лебеда, и “калачики”, которые мы ели в детстве. Землянки были почти незаметны, так как они естественно вписывались в рельеф местности и зарастали травой, даже на крыше росла лебеда и полынь, потому что покрыты землянки были земляным дёрном. Поэтому они сливались с окружающей природой. Горки, улочки, дорожки вдоль прясел петляли, терялись и вновь появлялись. Все постройки почти исчезали в зелени трав и ивовых кустов, разросшихся вдоль по логу.

А по весне воздух благоухал запахом цветущих черемух возле наших неказистых жилищ. Каждое время года раскрашивало природу в разные краски, коих мы тогда, военная и послевоенная ребятня-безотцовщина, не замечали может быть. Но память хранила в душе каждого свой неизгладимый след, своё очарование. Теперь я понимаю, почему меня тянуло рисовать природу, тянуло стать художником. Это душа просила высказаться, поделиться впечатлениями детства и юности.

Землянки строились по ходу логов, ручьёв, по склонам местности; кто где хотел, там и выбирал себе место для постройки. Может поэтому я не люблю город с его жёсткими прямыми углами, с его расчерченной по линейке планировкой, с его неодоушевлённостью и безликостью бетонных коробок.

На “Участке”, в центре совхоза, дома были построены строго по прямой линии, были посажены ряды акаций, а возле клуба – ряды яблонь и ирги.

Мы, земляновцы, не любили “Участок”, редко там бывали, только в школу ходили или в магазин за хлебом. Да

в кино по пятаку (или даром через окно с тылу клуба). Или заходили в чайную иногда морсу попить. Там всегда вкусно пахло, но мы там ни разу не обедали. То ли не принято было, толи денег не было. Чайная обслуживала больше приезжих.

Когда я приезжаю на родину, то обязательно пытаюсь побывать в местах, где прошло моё детство. Эти впечатления, эти знакомые улочки дают мне особое вдохновение, хоть и заросло всё высоченной крапивой. Репейник выше меня вымахал, а на том месте, где была наша землянка, стоит в одиночестве старая берёза; чуть поодаль – засохший тополь...

Здравствуй моя Родина! Мой отчий дом и место моего рождения. Здравствуй и прощай мой край умирающих тополей...

В ПОИСКАХ ПРОШЛОГО

В один из выходных дней опять я решил навестить родную деревню.

Вечером пошёл бродить по своим заветным местам. Где была наша землянка, выдурила высоченная трава-лебеда, крапива да шишебарки; Возле бывших землянок пригорюнились или кустик черёмухи, или берёзка, или высыхающий тополь. Некоторые тополя уже умирают и падают, гниют. Походил по лужайке, где “Переходы” были – “Парничье” и “Девчачье”.

Ничего не узнать. Всё заросло камышом и осокой, кустами ивняка. Дошёл я до “Плотины”, на “Камешках” побывал. Вода затянута ряской. Не стал купаться. А тепло было.

Сад полыхает багряными красками. Берёзы желтеют. Черёмуха – бордовым пламенем охвачена.

Решил пройти по низу лога, где землянки были. Всё потонуло в высоких зарослях крапивы. Да стоят одинокие

тополя. Тут Гриша Бирюков в землянке жил. Ничто уже не напоминает о жильё...

Когда-то тут кипела жизнь с её бытом и повседневными страстями. Всё быльём поросло – в самом прямом смысле. Продираюсь по этим зарослям и чувствую себя будто скрывающимся от кого-то. Потому что в таких “джунглях” нога человека не ступала не один десяток лет. То попадутся тополя в три обхвата толщиной, то густые заросли черёмухи, молодых берёз, шиповника, боярки, и кажется, что попал в настоящий дикий лес. Гут где-то Максим Шуплецов жил со своей Натальей, которая лечила от испуга. Сейчас звери какие-то живут и людей пугают. По всему логу нарыты горы земли и огромные – в диаметре сантиметров до пятидесяти – норы уходят в глубь земли.

Что это? Что за зверь поселился в этих непролазных чащах? Жутко стало, подальше надо бы от этого места держаться, так как рядом с деревней звери стали жить. Оглядываюсь по сторонам. С какого бока ожидать нападения. Ретируюсь из этих мест. Куст боярки увидел. Весь в ягодах. Никто тут не ходит, видимо. Не берёт их. Поел немного, но с опаской оглядываюсь и ухожу.

Дальше пролезаю по кустам и крапиве. Вот виднеется бревно нижнего ряда дома. Кажется, Генка Перцев тут жил. Или Егор Дмитриевич Уфимцев,

Чугунок поломанный. Колесо от ручной тележки для перевозки сена, дров на себе или другой мелкой клади.

Вылезаю на простор. Кончается бездорожье. Вот натопанная тропа в дурбетнике. Дорожка на “Кирпичное”, за грибами, да за ягодами. Вот опять куст боярки. Но ягод очень мало. Обрано уже.

Хотел ещё сходить на другой берег крутого лога, где тоже улица когда-то была, – что в сторону Понькинской дороги. Да уже начало смеркаться. Сквозь кусты и тополя плавилось зарево заходящего солнца. Наплывают воспоминания в моём, разгорячённом сознании и памяти детской.

Мы тут в болотных зарослях играли с ребятами в шпионов. У Вити Кулакова была собачка, которая по следу помогала найти в зарослях спрятавшегося “шпиона”.

Болото высыхало, оно преображалось в жёлто-оранжевые, красные, бордовые, зелёно-жёлтые, охристые и коричневые тона. Кусты, травы, берёзки, осинки, растущие в болоте – всё звенело золотистыми расцветками на фоне звонко голубого неба, а кудлатые облака – апостолы и ангелы наблюдали за нами в эти тёплые солнечные дни бабьего лета, охраняя нас от напастей времени.

Я сейчас вспоминаю эти моменты в своей жизни, как райскую жизнь и благо Всевышнего в этом райском окружении осенней природы, и счастливее минут я больше не помню за последующие годы. Тогда было мне где-то лет восемь-десять. Самые счастливые годы прошли в общении с природой, с собачкой и с друзьями. Ничто не омрачало наше детство. Ни плохая одежда, ни однообразная пища – молоко с хлебом и картошкой.

...Вернулся вечером домой. Рассказал маме, как бродил по зарослям, где были наши землянки. И про норы. Она говорит, что там какие-то лесные собаки живут. И курей таскают у хозяина самого последнего дома. Там лесник живёт – Казимир Витальевич. Таскают у него прямо из конюшни. Один раз десять штук утащили. Говорят, что звери... А может и люди. Время-то дикое настало – всё тащат...

Утром мама будит меня как всегда: “Вставай, Лёня, пора на автобус собираться. Скоро придёт”. Выхожу во двор. А утро тёплое. И солнце уже высоко. Небо чистое. Легкие перистые облака прогнулись под куполом небесным. Одинокий тополь наш серебрится облетевшими ветками. Под ногами осенние листья – кленовые и черёмуховые, тополиные. Листопад... Прощаюсь с маленьким пёсиком. Мама взяла нового щенка. Цыган ушёл умирать сам... Мама потом его нашла в первом лесочке за деревней мёртвого...

Грустная пора прощания с отчим домом, с окружающей природой, в которой прошло всё детство босоногое и безотцовское. Грустно оставлять одинокие тополя, заросли прошлого...

А мама, как всегда, выходит меня провожать до остановки автобуса и говорит с грустью напутственно: “Айда с Богом! Сынок...”

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА

“Угорела барыня в нетопленной горенке” – проговорила соседка, когда я рассказывал дома о своих похождениях.

Я приехал в родную деревню на побывку и с ночевой. Давно, больше месяца не бывал у мамы. В конце ноября резко похолодало, аж до минус тридцати градусов. Но мама в горнице редко топит даже зимой. Двери в неё закрывает. На кухне камин истопит или русскую печь. И на горячих кирпичках сидит греется, да носки вяжет. Кому-нибудь деревенским за молоко. Бартер – по-нынешнему называется.

А раз я остался ночевать, она взяла да истопила в горнице. Да вьюшку-то видно рано закрыла. Я слышу – что-то в ушах у меня или в висках затукало. Я ещё подумал, что угорел, наверное. Но всё сижу в горнице, да книжку читаю. Пока не сплю. Потом и вовсе голову стало сдавливать как обручем. Я оделся, вышел на улицу – подышать свежим воздухом, чтоб прошла головная боль.

Месяц уже высоко взобрался, завис над полями. Яркий, стоит на рогу – к холоду, значит. “Третий раз, эдак вот, – сказала тётка Прасковья. – Уже третий раз на рогу народился. Вот и стоит холод. Давно в ноябре такого не было”.

Побрёл я по деревне в сторону землянок. Светло от яркого месяца и белого снега.

Поймал свои мысли на том, что какое-то двойственное

чувство испытываю. Вроде всё так знакомо с детства, и в то же время, почему становится чужим. Не знаю, отчего это. То ли оттого, что редко стал ездить на родину.... То ли от холода... Нет тепла, не откликается душа.

Пошёл я на то место, где родился, где вырос, где наша с мамой землянка была. Густые заросли дурбетнины-шишебарки, крапива, лебеда. Всё быльём поросло. Тополь, что возле молдаванской землянки рос, стоит высохший. Умер стоя. Высох то ли от тоски-одиночества, то ли от долгих прожитых лет...

Боль одна от этого места осталась, да грустная берёза ещё одиноко напоминает о нашем огороде. Стоит она на склоне горки, сквозь ветви посверкивают далёкие звёзды да висит остророгий светило-месяц. С этого места на запад открывается широкий просторный вид на поля и леса. Единственный дом остался в этом краю, где бывший лесник жил – Казимир Витальевич. Но и он в этом году помер. Нет ничего вечного.

Постоял я, покрутил головой по сторонам. Тут катались с горки на лыжах и санках. Рядом на болотце или на плотине – на коньках-снегурках, прикрутив их верёвками к подшитым валенкам. А сколько радости было, если кто-то из старших давал прокатиться на “дутьшах”, на настоящих коньках, которые не разъезжаются в стороны, как снегурки. Несёшься по тонкому льду, который аж прогибается, потрескивая. Возьмёшь вставишь в коньки, зажатые коричневые палки камыша. Бежишь, а от ног дымки развеваются. Привольно и радостно!

То вспомнится, как сидели у нас на русской печи с ребятами, когда мама дежурила ночью на птичнике. Сидим, грызём сухарики, а кто-нибудь рассказывает страшные истории про оборотней, жуть берёт. Холодок по спине. Или любили на железной печке-буржуйке печь нарезанную картошку ломтиками и посыпанную солью. Очень вкусные печёнки. Обжигашься да ешь.

Постоял, погрузил. Потом прошёлся по улице, где жила наша баба Дуня. Тут два домика от улицы осталось. Где усадьба бабы Дуни была, осталось три столба. Это были большие ворота и калитка. Пусто. Нет самого любимого моего места, где я вырос, где я вскормлен, где был любим всегда.

Один раз мама положила на санки мешок муки и сказала, чтоб я вёз его бабе Дуне. Я привёз. Девки – Нюра, Маня да Валя выскочили: “Ой, Лёня, чего это ты привёз?” Я и отвечаю: “А чтоб не считали меня иждивенцем-то, что объедаю вас. Вот вам муки привёз” (У бабы Дуни было семь девок). Они смеются. “Вот молодец”, – говорит баба Дуня, а сама кончиком платка прикоснулась к глазам: “Горюшко ты наше”...

Где ты теперь, моя баба Дуня? В каких краях проживаешь? В каких воплощениях твоя душа теперь? Отрада ты наша, всех нас внучат выкормила, всех привечала, как родных детушек. Каждому нашла слово доброе. Каждому отдала всю свою душу, всю нескончаемую любовь свою... Мы тебя помним...и любим...

Пошёл дальше. Вот рядом Симаковская гора. Где все наши зимы прошли. Допоздна, уже при луне, катались мы с этой горки. Теперь она какая-то маленькая, низкая стала. А тогда была длинная, летишь на санках – аж дух захватывает. А на лыжах по ямам (из которых тут глину брали, чтоб печи класть), так не каждый на смелится съехать. Страшно, но мы отчаянные были. Да и стыдно бояться. Хоть и упадёшь – не беда, зато репутацию не испортишь. Бывало, что носки лыж втыкались (лыжи плохо были загнуты, самодельные были) и ты летел вперёд лыж кубарем. Поднимался, отряхивался от снега, набившегося в валенки, за воротник, в лицо, в рукавички. Осматривался и – горю – не было предела, слёзы сами текли из глаз. Носки лыж были сломаны.

Мне дедо Семен хорошие лыжи сделал – носки хорошо

были загнуты. Но я недолго радовался (кринку сметаны за них деду отвёз – мама наказала отвезти), изрубил их у меня сосед – парень постарше меня, Сано Галунчиков, отчаянный хулиган был. Мы не дружили. Может, от зависти он изрубил. Поездом его зарезало, уже взрослого. У него отец был без ноги, ходил на костылях и драл он своего сына как “Сидорову козу”.

“Галун” (сына кличка) – учился плохо. Воровал у отца папиросы, курил сам и нас заставлял чуть не силой. Припугивал всё, если откажемся. Один раз сидели на “Переходах”, покуривали папиросочки “Прибой (или Огонёк)”, а пробегала мимо Люба, девочка одного возраста с нами. Прихожу домой, а мама меня голиком (веник без листьев) встречает. Да как начала драть, как начала понужать этим голиком. Я сразу понял за что. За курево. С тех пор не курил до армии. Техникум закончил в 18 лет. Мама спросила как-то: курю ли я? Я ответил, что нет. “Кури, если хочешь”. В армии я стал покуривать и лет двадцать потом пазил до одури. Но здоровье дало понять, что надо бросать. Бросил, уже лет двадцать не отравляю себя.

...Стою на горке, а мысли в далёком детстве плутают. Светло тут. Думал, что и следов тут никаких не увижу, пятьдесят лет прошло с тех пор, но горка всё так же утрамбована и укатана лыжами, да санками. Мы до поздней ночи тут катались. Никак домой не идёшь. Обледенеет вся одежда, весь в снегу. Думаешь, что вот последний раз скачусь и домой пойду. А ребята все катаются и катаются. И ты опять остаёшься. И так до бесконечности. Пока матери не прибегут за нами, да не наругают, да шлепков не напощают. Дома одежду снимут с тебя, а она не гнётся, как ледяной скафандр или панцирь какого-то животного. А когда оттаёт сникнет, упадёт, станет мокрой. Вот тут мать ещё добавит “на орехи”...

Пошёл я по твёрдой лыжне, что ведёт на “кирпичный завод”. Там мы уж подростками катались. Да в овраги

ходили. Или сделаем трамплин из снега и летаем как птицы с него. Вот тут-то лыж было поломано. И школьных, и своих. А в оврагах и вовсе. Это уж на любителей острых ощущений – на смельчаков. Бывало еле возвращались, но на своих ногах слава Богу. Но со сломанными лыжами. Как-то голову не свернул никто. Никому не хотелось быть трусом...

Постоял опять, повитал в облаках подростковых, посмотрел на далёкие бугры и побрёл обратно.

Сквозь светлую ночь... Звёзды яркие, перемигиваются. Висит надо мною ковш Большой Медведицы. И млечный путь запутался в ветвях высоченных тополей, как я в этой ночи...

Вокруг ни единого огонька. Пустота. Лишь внутри ещё теплится огонёк воспоминаний о детстве, о родной стороне, о маме, о бабе Дуне.

Возвращусь я на миг в родные края, всполохами озарит память видениями детства, отрочества или юности и опять я уеду надолго от всего светлого и доброго...

ИММУНИТЕТ ПРАДЕДУШКИ

Родители нашей бабы Дуни были сильно набожные. Отец её – Задорин Фёдор Павлович был церковный староста. Мать звали Александра Вилантьевна.

Рассказывает моя мама – Задорина Анастасия Семёновна:

– Дак, кого, тогда, когда беднота-то к власти пришла, давай по наущению коммунистов-то книги церковные жечь, да иконы. С церковей колокола сбрасывать. Да церкви-то взрывать. Не понимали ничё. Хоть и крещённые были... У нашего дедушки Фёдора тоже все книжки отобрали. Так он с табуреткой кинулся на уполномоченного-то. У дедушки много старинных церковных книжек было. Их потом пьянчужки да неучи сожгли вместе с иконами...

Дедушка посадили. Но недолго держали. Отпустили по-

том. Но приткнуться ему некуда стало. Дом отобрали. Старший сын – Михаил мать к себе взял, когда дедушка Фёдора посадили. Он потом приехал к нам в Белоярку. Побудет возле нас маленько и опять уйдёт. У нас и так семья-то большая – девять человек. Да всё девки. Работников-то нелишка. Дедушка Фёдор ходил по деревням с котомкой и собирал милостыню. Кто что подаст. Этим и жил (сейчас не проживёшь, почти не подают; и никому ты не нужен...).

Придёт к нам, принесёт хлеба. Нас, девок-то всё подкармливал. Давай нас угощать милостыней-то... Кусочками хлеба... Потом он картошку караулил в Понькиной. А ребятишки, видно, зажгли у него балаган-то. Всё сгорело у него, все рубахи с перемывахой. После этого он всё больше около нас обитался. Всё на печи сидел. Да с тобой Лёня водился. Помнишь, нет? Тебе уж четвёртый год шёл тогда. Должен помнить.

– Смутно очень, мама. Один дух святой помнится, а человека-та уж не представляю, – отвечаю я маме.

– Перед тем, как умереть-то, он взял тебя, – продолжает мама. – Посадил к себе на колени. Когда он уже слез с печи-то. Да молитву запел. Держит тебя на коленях-то, а слёзы у него бегут шибко, шибко... Он их не вытирает. Всё поёт. Вскоре умер. В 1948 году это было.

Видимо, что-то передал он мне. Что-то божественное я всегда в себе чувствовал. В детстве – интуитивно, а теперь всё явственнее ощущаю. Не зря я от техникумовской специальности технолога повернул к искусству – к живописи, графике, литературе. Порой рисую или пишу и не знаю как всё получается. Будто бы само собой. Как будто кто-то водит моей рукой. Потом удивляюсь даже. Неужели это я нарисовал? Да, без Всевышнего тут не обошлось. И слава тебе, Господи! Что не покидаешь меня...

И иммунитет, видимо, тоже от прадедушки Фёдора ко мне перешёл. Уж как я не терплю всякую несправедли-

вость и издевательство на людьми. И в конце концов, в преклонном возрасте я принял решение — окреститься. То есть стать христианином...

С тех пор, как начал заниматься живописью, я стал общаться с красотой природы, с космосом. Понял, что Бог – есть вся Вселенная. Ее душа что ли в образе Бога. Что Бог есть любовь ко всему сущему и ко всем. И Бог есть Красота, т.е. Всё Божественное. Потому я и сделал первый шаг навстречу Богу... Пошёл в церковь – в Спасо-Преображенский Сбор. Купил свечку, поставил и помолился Господу, чтобы он отпустил все мои прегрешения. Чтобы он благословил меня на добрых дела – на написание следующей книги – “Бабушкины сказы” (“Всё пережили”), и на все последующие.

В церкви шла служба. По окончании её я обратился к батюшке с просьбой, могу ли я в этом возрасте стать крещённым. Он ответил, что к Богу прийти никогда не поздно. После чего и был проведён обряд крещения. А в следующее воскресенье – причащение.

Я считаю, что это ещё один шаг в моём саморазвитии, в моём самосовершенствовании. Шаг к духовному возрождению. Что это шаг к приобщению мировой нравственности, шаг к развитию всего человечества. А не к разрушению...

Разрушителей и так хватает. И нейтральных тоже... Обывателей, живущих для живота... Кто же будет для духа жить?

Если не с Богом и Божественным, то значит с Сатаной, с дьяволом?

Хоть и не согласятся многие с Дьяволом быть в одном стане, но это именно так получается само собой.

Так давайте, будем выбирать.

С кем мы, господа-человеки?

ПУЧКИ ДА ПИКАНЫ

Баба Дуня наша очень любила в лес по грибы да по ягоды ходить. И моя мама тоже пристрастилась. Ну и я теперь обожаю это занятие.

Это и подспорье к хилому бюджету, да и еда-то наивкуснейшая. Лес хорошо в наших местах подкармливал нас в детстве. Можно и груздянку из синявочек сварить, или нажарить с картошкой обабков. Или насолить сухих или сырых груздей на зиму. Груздочки солёные с горячей целой картошкой – просто объедение. И лесом пахнет обворожительно. И солнечное лето перед тобою с густым клубничным запахом.

Но ягоды больше сушили. Не было тогда сахару-то мешками, как теперь. Зимой из них пирожки стряпали. Брала и вишенью, и костянку, и боярку, и шиповник. Ягоды землянику и клубнику ели свежими с молоком и домашним калачиком – это словами просто невыразимо. Вкуснее, наверное, нет ничего.

Как только начинала проклёвываться первая травка, баба Дуня, а теперь и моя мама, идёт по “борщ”. Это первые листочки будущих “пучек”. Их рубили в деревянном корытце и стряпали из них пельмени. Потом появлялись “пиканы” – стебель с нераспустившимся зонтом-соцветием. Этот бутон тоже измельчали в корытце и делали пельмени.

Современные дети, увидев такие пельмени загораются аппетитом, но раскусив пельмень и увидев там зелень, презрительно отодвигают:

”Фу, тла-а-ва-а”... Они-то привыкли только к мясным и за еду такое не признают.

Моя мама рассказывает:

– Вот мама с тятей запрягут лошадь, уедут на поле за пучками специально. Вечером приедут, привезут их множи ну. Дадут нам немного. Не в раз нам скармливали, а то

животом замучаемся...с травы-то. (Сама посмеивается). Спустят эти пучки в яму, а там лёд зимой с реки навожен, холодно в яме-то – можно всё хранить летом. Не было ведь тогда холодильников-то. Потом достают эти пучки понемногу и кормят нас. Вкусные. Всяку траву ели. А в войну-ту, в эту вот Отечественну-то всё больше из крапивы суп варили.

– Вот на витаминах-то и выжили, – подхватываю я. – Поэтому и не болеете, крепкие. Не то что мы – атомная дохлятина. Чуть дунуло – уже простыли То одно болит, то другое...Даёт знать челябинский «Чернобыль», «Маяк» то есть.

– Вы теперь всё в помещениях сидите, а мы на вольном воздухе робили. Как поворочаешь говно-то на ферме, так ни одна хворь не пристанет. Некогда болеть-то было.

Война шла. Мужиков нету. Всё одни бабешки на себе вытянули. Всю войну... Ой, не приведи Господи, больше никому такое испытать. Ревели да робили, а куда деваться. Некуда... Не то, что счас. Одна безработица... Никто не хочет робить-то...

Мама затихает, пригорюнивается, подперев голову рукой, и съёживается вся становится какой-то маленькой. Будто той девчонкой-подростком в тяжёлом 1941 году...

ЛЕТО-ПРИПАСИХА

Баба Дуня приходила из лесу с корзиной грибов, то с ведром ягод. То в тряпке принесёт целое муравьиное гнездо с муравьями. Распарит его и обкладывает свои суставы ступней и колен. Или насобирает муравьёв в бутылку, зальёт их водкой и поставит в тёмное место настаиваться. Потом этим настоем натирает себе суставы. От ревматизма хорошо помогало. А то принесёт берёзовых веток, сделает веник-два, а оставшиеся листья складёт в

валенки, да оденет их, всё лето в валенках ходила и вылечила свой ревматизм. Без всяких таблеток и докторов обходилась. Всё из лесу брала, все лекарства. Всякие травы знала – которая от какой болезни помогает. Синюха – от испугу, от родимца. Зверобой – от грудных и прочих болезней. Богородская трава, душица, мать-мачеха, подорожник и многие другие травы знала. У них в подсараяе и в плетёной из ивы избушке под потолком были разные травы натканы. Сушились в тени и на сквознячке. В сенках тоже были травы подвешены. Зимой она поила своих ребят, кто заболел. И сама пила, если недомогала.

Она росточка была небольшого, щупленькая. Много ей приходилось физической работы по дому проворачивать и с дедом Семёном в поле вдвоём работать, когда ещё единолично жили. А потом стала в совхозе работать. Заставляли...не смотрели, что дома семеро по лавкам. Работа была тяжёлая, не женская. Всё одними руками, да всё надо брать “на пупок”. Вот она и болела часто надсадой. И пила всякую траву от э той надсады. В 70 лет ей впервые пришлось лечь в больницу. Прооперировали. Вырезали грыжу. Она чуть-чуть очухалась и скорее домой. Одна приехала без всякой помощи. Вот один раз только и полежала в больнице.

То шиповника, да боярки, да черёмухи натаскает. Зимой из боярки и черёмухи тоже пирожки вкусные пекли. А шиповник заваривали и пили вместо чая. Красивый такой навар получался. Золотисто-огненный, Или корни его заваривали тоже. То кислятки принесёт из лесу, то чесноку лесного. Всё годилось на еду. То вишня лесного засушит, а костянку в банки зальют водой. И крушину, и калинку брали.

Не было тогда апельсинов-то да лимонов. Своими лесными витаминами обходились. Дома были смородина, малина, да черёмуха посажены. Всё ягоды больше сушили. А потом зимой чай с ними пили, от простуды лечи-

лись: листья и стебли малины запаривали. Яблони редко кто садил возле дома. Это уж позже стали.

В пятидесятых годах, когда в наши края молдаван выселили. Они сады стали разводить. Да и большой совхозный сад был, много яблок выросло. Стоили они дешево. Кому надо было – покупали. Много разных сортов яблок было – и кислые, и сладкие. И зелёные, и жёлтые, и красные. Резали и сушили на зиму для компотов. Варенье тогда не варили. Денег не было на сахар.

АЙДА С БОГОМ!

Кончилась вольная пора. Мне исполнилось семь лет. Когда я пошёл в школу, в первый класс, то я уже знал все буквы и умел написать печатными буквами свою фамилию. Цветные карандаши всегда лежали дома на столе и рядом тетрадка. Сколько себя помню, рисование всегда было самым любимым занятием. Теперь, когда я это дело изучил и стал работать профессионально – это занятие стало моей постоянной потребностью выговориться в красках.

Одиночество, пристрастие к фантазированию, любовь к природе, среди которой я вырос заронили в мою душу искру Божественного дара, который я почувствовал повзрослев и, к раскрытию которого я стремлюсь всю свою сознательную жизнь.

Перед школой мама сшила мне тряпичную сумку с одной лямкой для одевания через плечо. Когда пошёл в школу первого сентября 1951 года, мама уговаривала меня взять с собой молитву:

– Возьми-ка, Лёня, вот этот тетрадный листочек в клеточку и положи в грудной карман.

Она мне ко школе купила костюмчик подержанный на барахолке в городе. Он был целый, нигде не порванный, Я выглядел в нём чистеньким и опрятным. Он пришёлся

мне впору. Я выглядел в нём каким-то новым, неузнаваемым, повзрослевшим и по-городски солидным. Этот костюм меня как-то дисциплинировал, То ли оттого, что сковывал свободу действий, заставлял вести себя по иному, сдержанней, в нём я забывал всё моё природно-растительное существо, каким я себя чувствовал в своём заросшем дворе, возле едва виднеющейся из зарослей лебеды землянки.

Я был плоть от плоти – от всего природно-божественного, всего прекрасно-очаровывающего и свободно фантастического. От костюмчика же и от школьных занятий у меня рождались образы чего-то жёсткого, сковывающего, сжатого, прямолинейно-ограниченного, рационального и насильственного...

С каким удовольствием я сбрасывал этот костюмчик, прибегая из школы домой. Переодевался в свои повседневные с заплатками на коленках штанишки и в свободную, сшитую местной портнихой – на вырост, толстовку из плотного и мягкого материала, из байки что ли, сереньких тонов курточку, вылинявшую на солнце, но такую любимую, тёплую.

В нашем дворе до мельчайших подробностей всё было знакомо: где какая травка росла, где какой цветочек цвёл, петух с курицами и даже крапива с репейником, которая не жалила, а казалась родней, чем в других местах, и служила поддержкой падающему пряслу, и загоразивала проходы соседским курицам.

Под листья репейника можно было залезть и спрятаться, и никто тебя даже и не подумает там искать. Или схорониться от дождичка. Или наблюдать за какой-нибудь козявкой-жуком.

Кругом всё было живое, со всеми можно было запросто разговаривать, не думая о том, что и как сказать, и что тебя не поймут. Слова находились сами собой, и фантазии не было предела.

Учился я старательно, но школой почему-то тяготился. Единственным уроком, когда я забывал сам себя – это было рисование. Хотя учительница рисования сама рисовать не умела...

Ещё я любил чистописание, где надо было выводить каждую буквуку аккуратно, то с нажимом, то ведя еле видимую волосяную линию без нажима. Окунув перо под номером одиннадцать в чернильницу-непроливашку, с удовольствием полюбуешься на написанную букву и рядом с сопением и трепетом выводишь опять где с нажимом, а где без нажима, следующую такую же букву. И так всю строку. И весь лист, разлинованный по размеру букв и с определённым наклоном. Особенно же было приятно сознавать, когда твоя буква почти не отличалась от буквы в начале строки, идеально написанной красными чернилами самой учительницей. Но более того приятно было видеть округлую пятёрку за твои кропотливые старания.

...Ну и что с того, что стал я художником. Нарисовал сотни картин, слепил сотни игрушек, написал сотни рассказов. И в итоге.... Никому не нужны ни мои картины, ни игрушки, ни рассказы...

“...Ты что, мама, – и у меня на глаза вот-вот накатятся слёзы. – Не возьму я, нет. Ты что, меня же засмеют, если узнают”. Так я и не взял тогда молитву. А сейчас бы взял, в возрасте пятидесяти лет до меня дошло, что без Бога в душе нельзя жить на этом свете. А тогда мама хотела как лучше сделать. И, провожая меня до ворот, каждый раз говорила: “Ну ладно, сынок, айда с Богом!” – и крестила троекратно. Только в пятьдесят лет я сходил в церковь. Решил стать крещённым. Целую вечность прожил безбожником. Хотя в душе теплилась тяга к прекрасному, а значит и к Божественному.

С этим напутствием “Айда с Богом!” мама стала провожать меня и в школу, и в техникум, и в армию, и в другие пути-дороги, каждый раз. Учился я легко. До пятого клас-

са был отличником. До седьмого – ударником. В техникуме – после школы-семилетки всегда сдавал на стипендию, т.е. на “четыре” и “пять”. И в институте на художественно-графическом факультете тоже с огромным желанием учился, так как это было моё призвание – быть художником, прикасаться к образам прекрасным и божественным, то есть, сущности, общаться с Богом...

МЕСТА КУПАНИЯ

В нашем краю, где была наша землянка, сразу за деревней открывалась поскотина. Вдоль этой лужайки тянулся глубокий ров-овражек, по дну которого бежал ручей. Вёснами, когда плотина переполнялась водой и вода размывала дорогу, по этому овражку бешено неслась талая вода. Как говорила моя мама: “Вон чё лога-то нонче шумят”.

Отшумят вешние воды, прогреется весенняя земля, потеплеет, зазеленеет лужайка. В этом овражке, в вымытых ручьём яминах скапливалась рыба, то ли скатившаяся из плотины, то ли зашедшая по большой воде из омутов возле кирпичного завода. Самая пора наставляла ловить карасей и гольянов.

Мы всё больше ловили решетом. Хорошо получалось. Сбросишь рубашку и штанишки, и с решетом по этим скользким от глины полноводным колдобинам ползаешь весь в глине. Вода мутной станет. Заведёшь в ямку или под кочечку, то обязательно не один золотой карасик и куча извивающихся чёрных гольянов будут в решете трепескаться. А то и мяскозоб провернётся. Так мы звали пескарей усатых, чешуйчатых – чуть покрупнее гольяна. Но и гольяны попадались очень хрушкие да пузатые. А у кого решета не оказывалось с собой, а рыбки поймать не терпелось, пока её много, то снимали с себя майку или штаны и, завязав с одной стороны узлом, начинали заводить

под кочки и в ямы. Или же делали плотину из глины, ставили в узком месте свои завязанные штаны и держали, а кто-нибудь из ребят начинал сверху загонять рыбу – шлёпать по воде, бултыхаться, чтоб рыба шла к плотинке.

Поднимет паренёк завязанные штаны, а вода плохо процеживается через плотную материю, потому другие ребята начинают шурудить руками внутри этих штанов, вылавливая карасей руками.

Извожжаемся в глине, на руках и на ногах “цыпки” запищат – кожа растрескается, заболит, что аж спать невозможно от боли. Значит это “цыпушки” запопиковали.

Матери наши хоть и ворчат, но смазывают “цыпки” солидолом. Довольные уловом, не очень ругают, так как на уху, на две всегда налавливали. А это всё-таки еда...

Мама накладёт в чашку рыбы и пошлёт бабе Дуне отнест. Баба Дуня сварит уху, а дедко хлебает горячую, с огня да нахваливает, что очень хороша уха “Вот, Лёнька, молодец! Накормил нас!” – скажет баба Дуня. – Давай лови больше!”

Я такой довольный, что похвалили меня. Рад, радёше-нек. На завтра опять бежим с ребятами на “Переходы” карасей да гольянов решетом да штанами ловить. Слева и справа от этого овражка были глубокие и широкие ямы с водой. Справа называлось “Парниче”. Тут мы учились плавать – переплывали эту ямину метра в три шириной. Поначалу было страшновато и эти три метра преодолеть. Поэтому больше возле берега булькались. Вода станет мутной, жёлтой. Вылезем, обсохнем, согреемся и опять рыбу ловить. Так пролетали первые летние дни.

Научившись тут плавать, уже шли на “Плотину” – огромный котлован, затопленный водой и перегороженный плотиной. Тут когда-то был кирпичный завод, из ямы брали глину. Мы с ребятами даже дна не могли на середине водоёма достать. Да и вода на глубине от ключей была очень холодная. Страшно было опускаться в этот тём-

ный, казалось, бездонный холод. На плотине было два красивых места для купания. Это “Камешки”, где было и на берегу, и в воде много красного битого кирпича. Тут берег резко уходил в глубину. Поэтому тут купались ребята постарше и взрослые мужики.

Кругом ивовые кусты, возле которых хорошо клевали гольяны. А на другом берегу был “Островок” – там дно было песочное, твёрдое, сам “Островок” зарастал кудрявой травой, как пружинистый ковёр был. Там приятно было позагорать. Но на «Островок» надо было переходить по няше (вязкий ил), загнув штанины выше колен. Там обычно купались подростки с девчонками, с которыми они дружили, а дети – малышня возле берега на мелководье бразгались.

Завидев девчонок на “Островке”, мы переплывали с “Камешек” к ним, чтобы купаться вместе, подурачиться, поподныривать, задевая их рукой.

Сколько визгу и страху от этого прикосновения у очумевших девчушек. А ты выныриваешь где-нибудь подальше и, улыбаясь, наблюдаешь, как они вертятся, пытаешься заподозрить кого-нибудь в этих шалостях.

Или в одних трусах побежим в сад, который находился неподалёку, нарвём яблок под самым носом у сторожа и обратно на “Островок”, угощать кислятиной своих подружек. Они морщатся да едят. Так мы ухаживали за своими избранницами, уделяя им знаки внимания.

БАНЬКА ПО-ЧЁРНОМУ

*Девки в баню,
Я на баню,
Провалился потолок.
Через каменку скакали
Подпалили хохолок.*

Вспомнил я частушку из детства, когда меня брали с собой мыться в бане. У деда Семёна с бабой Дуней было семь девок и один сын – Сергей. Я его не видел ни разу. Его на войне убили под Сталинградом в 1942 году.

А я родился в 1944 году.

У бабы Дуни в горенке висел портрет дяди Сережи в военной лейтенантской форме. В рамке в овальном паспорту, под стеклом. Я часто слышал от своей родни, что я сильно похож на него. “Ты, Лёня, вылитый наш Серёжка! И нос и губы как у него”. Я очень гордился, что похож на дядю Серёжу. Он был для меня героем в нашей обычной неказистой жизни.

Тётка Прасковья была старшая дочь в семье Задорина Семена. Замуж её отдали рано, за Юрина Ивана из деревни Любимовой. Он с финской войны пришёл раненый. У него лёгкое было проткнуто штыком. На Отечественную войну его уж не взяли.

После они тоже переехали в совхоз им. Будённого из Любимовой. Построили тоже землянку. Близко от центра не было места. Они построились туда к Понькинской дороге, за логом. В логу чистая вода текла. Кругом били ключи. Это сейчас все загадили поросычьей парашей. Вонь одна от логов-то идёт. И всё засыхает в округе – и берёзы, и осины, и кусты черёмухи, и тополя.

У дяди Вани была длинная землянка. Зайдёшь в сенки – все полки заставлены деревянными колодками для обуви. Он чеботарь был. Обувь шил. И ремонтировал. Даль-

ше заходишь – его мастерская со столом у окна. Пахнет кожей, варом, резиной, клеём резиновым. За ней – кухня и горенка. Вот это все в земле. Но окна выходили на юг. Тепло было, уютно и просторно. Даже не замечалось, что это землянка в горе вырыта. Землянки крыли пластами – земляным дёрном. Рядом был колодец, огуречные гряды с морковью, луком, с капустой, редькой, горохом, бобами, калягой и подсолнухами. У лога всё хорошо росло.

Каждую субботу вся семья деда Семёна и бабы Дуни шли мыться в баню к тётке Прасковье и дяде Ване. Почему дедо Семён долго не мог построить свою баню для такой большой оравы, я так и не знаю до сих пор. Когда всех дочерей отдал замуж, только тогда и построил. Баня у тётки была тоже в горе, тоже землянка. Топилась по чёрному. Даже предбанника не было. На крыше росла высокая трава-лебеда.

Двери и косяки были чёрные от дыма, валившего из бани через дверь. В первый жар ходил Иван Павлович – муж тётки Прасковьи. Париться любил. Или шёл дедо Семён с бабой Дуней. Часто меня брали с собой. Я сидел внизу на лавке, а дедо на полке. На каменке были наложены всякие чугуняки, на которые баба Дуня плескала воду – поддавала жару дедку. Он тоже очень любил париться. До изнеможения хлестал своё худощавое, изробленное тело, свои косточки.

Мама рассказывает: “Наш тятя пил чай ли, хлебал ли похлёбку – всё с пылу, с жару – с огня, крутящий был мужик, особенно в работе. А есть любил только горячее. Всё с огня чтоб. То и зубы то и выжгал. А у бабы Дуни все зубы до единого были целы, допоследу. Она восемьдесят годов прожила. Она всё говорила: “Пусть остынет, пусть охлынет немного”.

Даже пельмени не ела горячие, остужала. И у меня все зубы. Ты вот тоже по мне. Береги зубы-то”.

Предбанника в баньке не было, поэтому, осенью и вес-

ной неудобно раздеваться и одеваться – холодно. Всю лопоть – одежду с обувкой оставляли на улице. А зимой скидывали только верхнюю одежду.

После бани шли к тётке Прасковье. Сидели, ждали, пока дедко напарится да намоется. Потом выбирались из лога по скользкой горе, еле-еле заберёмся. И в дождь, и в слякоть – когда первый мокрый осенний снег идёт. И в летние благодные вечера, и в зимнюю неуютную стужу, и в бураны ходили в эту баньку по-чёрному. Заметёт все переулки вровень с огородами, вот и лезешь по сугробам по колено, торишь дорожку. И баньку заметёт, сравнивает вровень с землёй. Откопают, огребут. Истопят. И опять можно мыться да париться. И так до следующей субботы.

Зимой рано темнеет. Мылись при “мигушке” – лампа керосиновая без стекла. Когда я в школу стал ходить, то стал мыться в бане с мужиками. Ничего не осталось от тех мест, где жили люди в землянках. Одна гора осталась горой, да высокие тополя густо разросшиеся напоминают о том, что тут когда-то кто-то жил... И никто никогда не навещает их, одиноких...

Лишь мой друг детства, тоже выросший в землянках – Пётр из Омска, как святой апостол, раз в десять лет бродит ночью порой при усмехающейся полной луне, тревожа чуткий сон ворчливых грачей, отдыхающих на старых тополях перед отлётом в дальние тёплые страны.

РЕМОЖНИК

Из детства мне очень ярко запомнился такой праздничный день, когда в деревню приезжал “реможник”. Это ездил по деревням на лошади, запряжённой в телегу, пожилой мужик и собирал ремки, цветной металл – какие-то пришедшие в негодность предметы быта – самовар ли, котелок ли. С его приездом мир будто расцветал. Все обычные дни начинали сверкать яркими красками. При-

вычную тишину будили звонкие свистульки – “пташки-пикушки”. Мужик сидел на сундуке, а сзади возвышался ворох всякого тряпья. Откроет свой сундучок сказочный и засветится округа переливами разноцветных шёлковых ленточек – девочкам, цветных резиновых шаров – ребятишкам помладше. А старшим – цветные “пташки-пикушки”. Женщинам – клеёнку с различными узорами или платки с чёрным полем и яркими малиново-красными розами да зелёными листьями. Мужикам – диковинные городские тонкие папиросочки – в пачках или на штуки. Или крючки рыболовные всяких размеров.

Тащим ему всякое ненужное тряпье, а порой ещё и могущие послужить вещи, лишь бы пикушку получить или крючок рыболовный настоящий – “базарский” (“сглотыш”) и кусок лески. А то мы ловили гольянов, сделав крючок из булавки, но без зазубрины, поэтому гольяны часто срывались. А вместо лески была обыкновенная нитка.

Всем находился у “реможника” предмет по душе. На следующее утро в разных концах деревни раздавались соловьиные трели пташек-пикушек”. Праздник для ребятишек продолжался.

Вот и я решил изготовить такие свистульки. Только каждую наделить своим видом необычным, чтоб запоминалась ребёнку. У меня тут собрались все домашние животные, больше преобладают круторогие и норовистые бычки, барашки блеющие, потерявшие свой дом, и кони златогривые, и русалки волоокие, и коты-котовичи, ухмыляющиеся в усы, и самодовольные индюки и птички попугайчики, и петушки с курочками. Всего насочинял, нафантазировал, да только никто не берёт мои поделки. Нет денег у рабочего человека. Товары же всё больше иностранные – заполнили рынок. Разные супермены с автоматами и пистолетами, коих по телевизору показывают, где одни жестокости да убийства. Почему это нравится современным детям?...

А вот изделия современного “реможника”, то есть мои, почему-то не привлекают их. Нет спроса... Поэтому меня можно с твёрдой уверенностью назвать настоящим реможником без кавычек...

ВСТРЕЧА С РОДНОЙ СТОРОНОЙ

“Икарус” идёт на повышенной скорости. Кажется, что это не автобус мчится, а лента асфальтированной дороги летит навстречу ему, падает под колеса и снова взлетает сзади, скрываясь за поворотом в берёзовом перелеске.

Не доехав до конечного пункта, выхожу из автобуса на остановке в Максимово и последние пять километров иду пешком через лес, напрямую, по полевой дороге. Как в юности, когда автобусы к нам в «Буденное» не ходили. Утро бодрит прохладой. Шагаю сквозь поросль стройных берёз. Их чистые, белые с розоватым оттенком стволы, кажется, излучают прохладный свет. Эту тишину нарушают только мои шаги. Воздух, словно эликсир жизни, распирает взволнованную грудь радостью скорой встречи с родной стороной. Иду мимо набухших весенней влагой полей.

И вот я стою на высоком бугре, а внизу, вдоль речушки, цепочкой растянулись белые шиферные крыши, вперемежку с железными крашеными суриком. Возле старых полузаброшенных избушек на окраинах высятся великаны-тополя. То приближаясь, то удаляясь идет по деревне утренняя переключка петухов. Изредка незлобно пролает собака да протяжно замычит бурёнка.

Нынешняя весна и начало лета не балует нас теплом и ясным солнышком. Постоянно бороздят небо низкие облака. Бывает пролетают “белые мухи”.

Переживает хлебороб, как уродит земля в этом году? Хоть и говорится в пословице “Май холодный – год хле-

бородный”, но как-то будет на самом деле? Вдыхаю запах родной земли. Он словно поднимает меня на крылья’ и уносит в далёкую страну детства, где по вечерам витали мечты и сказки возле горящего в темноте костра. Уносит в светлый мир, наполненный теплотой материнской ласки, прикрывающей нас своей шершавой ладонью и оберегающей от лихолетья Времени.

МАМУ ЖАЛКО

Шёл 1955 год. Первый год мы живём в молдаванском домике Распрощались с землянкой. Переехали в молдаванский край. Тут я никого не знаю. Скучновато в незнакомом месте. Все мои дружки “Земляновцы” остались там, в землянках. Я заберусь на тёсовую крышу нашего беленького домика и сижу, посматриваю с высоты, – где ты там, мой край “земляновский”. Тоскую по заветным местам. Смотрю, смотрю – не бежит ли кто ко мне из приятелей в гости.

...Начало марта. Нас, третьеклассников, учительница заставила обшивать свой галстук чёрным материалом. Принесла иголки, нитки, чёрную атласную материю, настригла полоски и велела снять галстуки и обшить этими полосками и ушла куда-то. Мы, особенно мальчишки, никогда не державшие иголки в руках, взобрались на парты с ногами и принялись за портняжное дело. Корпим, соплями швыркаем. Девчонки куксились, слезу пускали да размазывали. А ребята стойко хмурились только, обшили галстуки и на улицу.

...Умер Сталин. В трауре висели обшитые чёрным красные флаги на школе и конторе. Занятия отменили, но домой не отпускали. Возле школы, на солнечной стороне уже подсохла земля. Мы с ребятами стали тут играть “об стенку”. На пятаки. Ударяешь пятак об стенку – пятак отлетает. Потом другой ударяет своим пятак. Если за-

денет твою денежку, то забирает твой пятак, а если рядом упадёт так, что растопыренными пальцами можно достать, то тоже исчезает твой пятак. Если не дотянется, то третий метает. И так далее. У кого-то хорошо получалось, метко. Много пятаков навыйгрывает – очень разительная игра. Затягивает. До спора бывало, а иной раз и до драки доходило.

Смотрю, моя мама идёт ко школе. Я увидел её и подбежал к ней. Лицо бледное, а рука забинтована до локтя и подвешена на чёрном платке. Погладила меня по голове здоровой рукой и заплакала. Я тоже в рёв.

– Поживи пока у бабы Дуни, – сказала она, я в город сейчас поеду, в больницу.

Потом уж узнал, что у ней руку в силосорезку затянуло. Подхожу к ребятам зарёванный. Они подумали, что я в поддержку девчонкам. Из-за Сталина...(Что наш “Отец родной” умер. “Спасибо за наше счастливое детство”...). А мне маму сильно жалко было. Мы же с ней вдвоём жили.

ШАЛОПАИ

В нашей школе училось много молдаван – девчонок и мальчишек. Они быстро научились русскому языку. Были они очень понятливы, учились хорошо, Не то что наши деревенские шалопаи – безотцовщина.

Едва дотянув до четвёртого или пятого класса, они уходили работать на ферму – “говно ворочать”*. В школе их не держали больше, т.к. они были уже переростки. В каждом классе просиживали штаны по два да по три года. Поэтому к пятому классу у них вырастали усы, прорезывался басок – грубый мужской голос, а иные просто не вмещались за школьную парту.

Учителя всё посмеивались над такими оболтусами, что пора вас женить, а вы всё ещё штаны даром протираете. (“Женилка уж поди выросла?” – подшучивали они, чем вго-

няли лица великовозрастных в густую краску.). Почему-то таких переростков всегда ставили на ноги за какую-то провинность или совсем удаляли из класса.

Особенно не хотелось сидеть в классе им по весне. Когда припекало солнышко, дремалось, а на улице воздух был свежий, дышалось легко, солнце сверкало вверху и на земле – в лужицах. Перемигивались сосульки. Громко переговаривались воробьи. Под крышей ворковали голуби. Единственным занятием было в удовольствие – это пострелять из рогатки по воробьям.

В другие пасмурные и холодные осенние дни они проказничали меньше, чтоб не выгоняли их из класса, а только поставили к круглой горячей печке. Где им было тепло и уютно, а главное не донимала учительница со своими задачками. Не надо было «напрягать извилины». Тут за печкой у них были свои пристрастия. Привязав к нитке кусочек сухарика, ученик опускал его в щель между половицами. И сидел, ждал «поклёвки». Как рыбу удил. И ждать приходилось не очень долго. «Рыбак», почувствовав «поклёвку», тянул за нитку и ко всеобщему визгу девчонок выуживал из щели серенькую мышку. Она заглатывала сухарик и попадалась на удочку. После такого улова «рыбаку» приходилось распрощаться с тёплым местечком и отправляться в холодный коридор, а то и домой за родителями. Что он делал с великой неохотой, растягивал время, собирал свои тетрадки и учебники в холщовую тряпичную сумку на ляжке, которую на выходе отбирала учительница.

Бывали и для таких ребят интересные минуты на уроках. Когда на уроке зоологии учительница заставляла резать лягушек, то отчаянные взрослые ребята это делали с удовольствием. Правда, внутри у лягушки ничего не видели и не понимали. Им важен был сам процесс.

Девчонки отворачивались, верещали, тряслись брезгливо, отмахиваясь руками, а ребята с ухмылочкой зани-

мались экзекуцией, видя, как лягушачьи лапки, пришпиленные к парте булавками, продолжали конвульсивно подёргиваться. Порой лапки так напрягались, что вот-вот лягушка сорвётся с булавок и запрыгает, потянув за собой вывалившиеся серо-зелёные внутренности.

Дни за днями пролетали длинные зимы. К лету великовозрастных ждала совхозная работа на ферме и на сенокосе — вилы, топор, лопата, самый распространённый рабочий инвентарь деревенского мужика – советского работника.

Иные ребята, закончив семилетку, отправлялись в город учиться дальше, кто в техникум, кто в ремеслуху на токаря, на столяра, на слесаря и т.д, чтоб любым способом вырваться из деревни. Больше всего этого хотели родители, чтобы их дети не горбатились день и ночь. Кто не заканчивал школу-семилетку, родители отправляли оболтуса в школу механизации учиться на тракториста и комбайнёра.

Самой престижной профессией тогда была специальность шофёра. Почти что интеллигент в деревне. Да если по благу где-нибудь пристроится на телом местечке – начальника возить или комбикорма из города, или на бензовоз, то считай, что как сыр в масле будет кататься...Но такие места обычно занимали по большому благу и пожизненно...

А кто хорошо учился в школе – уезжали продолжать учёбу в городе. В десятилетку или в техникум. Редчайший случай – кто-нибудь один из ребят совхозных начальников – поступал в институт. Потом сменяли родителей на доходном месте.

На моей памяти ни один из отчаянных ребят-безотцовщины не дожил до преклонного возраста. И не умер своей естественной смертью. Кто-то спился, кто-то повесился, кого-то убили.

Очень многие хоть – и уехали из деревни искать лучшей

доли, но так её и не нашли. Мало кто вернулся обратно, а кто-то погинул на чужой стороне...

О ДРУЗЬЯХ ДЕТСТВА

Приехал нынче ко мне друг детства – Пётр Блюденков. Не виделись десять лет. Съездили на родину, где мы родились, где наши землянки были. Пригласили ещё одного нашего друга детства Витю К. Посидели у пруда.

Пётр начал меня: агитировать, чтоб я написал новую книгу о нашем детстве неприкаянном. О наших друзьях, о военной и послевоенной братве-безотцовщине. О светлом о чём-то, как мы на природе играли, учились в школе. О землянках, в которых родились и выросли. Описать все мечты наши, которыми мы грезили.

Сидим мы на “Плотине” – три друга и вспоминаем детство. Только и вспомнить-то толком ничего не можем. Витя К. наотрез отказался рассказывать: “Ничего не помню. Кого я – хромой да слепой. Да неучёной...”. А в детстве был самым главным рассказчиком.

И память-то никуда не делась. Должен помнить. Но не хочет, видимо. Комплексует. Жизнь прожита. И ничего хорошего он в ней действительно не видел. Горбатился всю жизнь в деревне. На себя – дома, на государство – на ферме. Попивал, конечно. В детстве мы любили его слушать, как он рассказывал интересно. Он хоть и мало читал, но то, что он слышал когда-то и где-то, он очень умело пересказывал. Особенно разные страшные притчи об оборотнях.

Пётр тоже что-то ничего толком не вспомнил. Уехал давно из деревни – больше сорока лет назад. И вот встретившись с друзьями, подвыпив, он находился в том блаженно-размягчённом состоянии, когда и вспоминать-то особо ничего не надо. Надо просто смотреть в лица друзей и трогать их руки, ощущать их тепло, смотреть вокруг на всё

и знакомое, и уже чуточку как бы чужое. Как будто бы находился во сне, а не наяву, когда многое ещё узнаётся сквозь рельеф местности, через высокие тополя, через плещущую о берег волну. И то, и не то. Много воды утекло за сорок лет. Чуть не вся жизнь...

Пётр пытается убедить нас, что Советская власть дала ему всё: и образование, и квартиру, и работу. Что он, простой паренёк из деревни, тоже безотцовщина военных лет рождения, добился кое-чего в жизни, в начале работал кочегаром на паровозе после школы. Потом закончил институт. Его, оставили на кафедре преподавать. Защитил кандидатскую диссертацию. Преподаёт. Получил квартиру. Вырастил детей. Нянчит внуков. Достойную жизнь прожил. Даже изредка приезжает на родину. не теряет корней. Почему же жизнь не удалась у Вити? Или у других?

Кому-то повезёт, а кому-то нет?.. Почему не нужно никому моё творчество? Ни четыре книги, ни сотни картин, ни десятки скульптур? Где ответы?

...Но неожиданно пошёл дождь, и мы вынуждены прервать наше полусонно-разнеженное состояние и ретироваться обратно домой. К моей маме в избу. Пока шли, дождик почти перестал, охладил немного наши хмельные головы, и мы решили, что пока светло, надо пойти с Петром на поиски его землянки, его места рождения.

В том районе остался один домик. Бродили в зарослях мокрой крапивы, репья и лебеды, нас не видно было в зарослях этой двухметровой дурнине. На голоса вышла баба – хозяйка этого домика, приезжая из города. Думает, чего это надо тут трём пьяным мужикам возле её усадьбы. Мы ей объяснили свои проблемы, в которых она помочь нам ничем не могла, так как была нездешняя.

Пётр настойчиво стал пробиваться сквозь эти крапивные джунгли. Опять пошёл дождь. Мы с Витей не решились идти за ним по мокрой траве. Стояли, о чём-то толковали, мокли. Витя матюкнулся, плюнул на все наши

фантазии и удалился по-английски, не прощаясь. Больше мы его не видели. Я ещё постоял немного. Промок до нитки и тоже пошёл домой. Пётр скоро пришёл ко мне. Говорит, что нашёл он то место, где их с матерью землянка была.

Ну и слава Богу! Довольный. Теперь он может опять лет десять не ездить на родину. На следующий день мы на утреннем автобусе уезжали из деревни. Пётр в свой Омск, а я в Шадринск. Мама, как всегда, провожая нас, промолвила: «Айдайте с Богом!»

Так мы расстались с Петром. На днях получаю от него письмо, в котором он настойчиво уговаривает писать новую книгу о нашем детстве. Ведь не забыл. Я думал, что это была просто фантазия хмельного ума. Ни там, на берегу, ни позже, я не признался ему, что я уже пишу эту книгу. И пишу давно.

Ещё в 70-м году я начал собирать материал о своём роде Задориных. Бабушка рассказывала мне первые свои воспоминания тридцать лет назад. Когда я пришел из армии. Другие позднее. Вот есть такая запись – в декабре 1995 года.

«...В этом месяце меня до глубины души потрясли две смерти. Я случайно услышал от мамы, что умер Коля Ю., тоже дружок детства. Уехал из деревни в город. Женился. Вырастил дочь. Но как-то получилось, что жена ушла от него. А шестнадцатилетняя дочь осталась с ним. Он часто и подолгу болел. Часто ездил к сестре в «Красную звезду». Последний раз я его видал этой осенью на вокзале. Он ждал встречи с некой незнакомкой. Дал объявление в газету, что ищет спутницу жизни. Одна ответила. Договорились встретится на вокзале. Она должна была приехать из Ольховки. Он был бодро одет, взволнован. Но худющий – кожа да кости. Трезвый. Гладко выбритый. Но женщина не приехала. И вот его нет..сорок восемь лет прожил на этом свете.

Многих моих сверстников давно не стало. Ленька Б. умер в сорок лет. Жил в совхозе, работал механизатором. Тоже попивал. И болел. Саня Г. («Галун») давно сгинул – где-то поездом зарезало. Тоже, наверное, нетрезвого. Пашку Ч. убили, кажется, он жил в городе Гурьеве. Толька Р. в шестнадцать лет умер на операционном столе. У него был порок сердца. Вовку К. еще встречаю в городе. Этот почти всегда «под хмельком». На первой группе инвалидности – глаз выбило на заводе. Говорит, денег хватает – пенсия по инвалидности да и завод за глаз платит. Не болеет. «Разве, только с похмелья», – рассказывает, ухмыляясь. Где-то еще живет Витька В... Отсидел. Ездит на «Волге». Сашка Ш. не знаю где. Уже более тридцати лет не виделась.

Вот такая доля досталась послевоенному поколению...

И совсем недавно, на днях – мама позвонила и сказала, что Вовка Д. руки на себя наложил. 39 лет. Этот не пил. Повесился прямо в больнице. В туалете. Последнее время тяжело болел. Семьянин был хороший. Дома все обустроил хорошо. Плотничать любил. Охотничал. Общественным егерем выбирали. Вот такие дела...

Никто не доживает даже до пятидесяти лет...

В МОЛДАВСКОМ КРАЮ

Рассказывает моя мама:

«Когда ты перешел в пятый класс, я продала нашу землянку, а купила саманный беленький домик в молдаванском краю. В 1951 году много молдаван раскулачивали и выселили к нам в Зауралье. В совхозе им. Буденного целый молдаванский край вырос из белых хат-мазанок.

Райляны, наши соседи, рассказывали, что у них был свой магазин. Но власти конфисковали и отправили их в Сибирь, т.е. к нам. А жить негде у нас. Квартир нет. Свои рабочие жили в землянках. Молдаванам давали ссуду на

самостоятельную постройку дома. Они, народ был умный и работящий. Семьи у них большие были. Но строили они себе дома не из рубленого лесу, какие в Сибири строят, а такие, как они у себя в Молдавии делали. Нарубили жердей, из них сделали хату, да с обеих сторон глиной уляпали. А деньги (ссуду) на скотину истратили. Завели скотины всякой: корову, овечек, кур, гусей, уток и т.д. Работящие были, особенно для себя никаких сил не жалели. Они же к единоличному труду приучены там у себя, в Молдавии-то.

А то опять саманные дома делали. Это они смешивали глину с соломой, перемешают все это и этой глиной наполняли формы. Получались большие кирпичи. Их сушили на солнце в штабелях, а потом строили из них дома».

Вот в таком домике мы с мамой и жили. Очень холодный он был. Не для наших сибирских морозов. Промерзала глина и не держала тепло. А летом в нем прохладно было, не вспотеешь. В нем была маленькая кухонка с камином и русской печью. Лежанка маленькая – одному взрослому человеку и то не поместиться. Мы с ребятами грелись на печи попеременно. Одни согреются, потом другие залезают.

Витя Кулаков и другие ребята частенько ходили к нам ночевать, когда моя мама на конном дворе в ночь дежурила. Он любил рассказывать нам страшные байки об оборотнях. Много их знал.

С вечера мы обитали в конюховке у камина и пекли печенки или помогали маме раздавать корм лошадям. Напоим их, а потом уж убежали к нам домой. Истопим печку, нажарим картошки, наедемся. Вначале тепло станет, но потом тепло куда-то быстро исчезало, особенно зимой в сильные морозы. Не знаю, как молдаване десять длинных зим выдержали в своих саманухах. Мы забирались вчетвером на кровать, размещаясь «валетом», закрывались одеялом с головой. Рассказывали разные байки да

страшные истории. Так и засыпали. Бывало, только уляжемся на кровати, как кто-то застучит в окно. Мы дрожим, спрятавшись под одеяло. Это кто-нибудь из старших ребят пугал нас, зная, что мы дома одни.

Мама, нет, нет, да вспомнит:

– Я часто вижу во сне этот наш саманный домик, что опять переезжаю в него. Он хоть и холодный был, а я почему-то часто во сне его вижу. Там сейчас строят новые дома на нашем-то месте. Все наш сады, что мы с тобой садили – и яблоню, и черёмуху, и вишню – все бульдозером сравняли с землёй... Ничего не осталось... А домик этот беленький так и стоит у меня в глазах...

Мне тятя потом сенки к нему пристроил, а сенок-то не было вначале. Комолый какой-то был. У меня там и землянка была для коровы с курицами. И огород хороший. Все хорошо росло. Потом, ты ушёл в техникум учиться, дак я продала корову-то. А потом и в армию тебя из этого домика провожали. Ты девок приглашал и ребят. Вечеровали. Пластинки на радиоле крутили. Наверное, всё ведь помнишь? На другой день пошли тебя провожать. Сашка Задорин был гармонистом. Здорово пели частушки.

*Эх, матаня, встань поране,
Вымой лавочку с песком,
Повезут меня в солдаты,
Ты заплачешь голоском.*

Из армии-то ты уж пришёл в эту вот избу-то, в деревянную.

.. Из молдаван-то мало кто остался здесь. Один разве Митя Чорной. Ему у нас прозвище дали – “Грязной”. Все на прозвищах. Его уж нет в живых. Он в двух квартирах совхозных жил и везде сады наоставлял. Он на Валентине Гурьяновне, на учительнице был женат. Молдаване все любили сады разводить. Он и пчёл держал. И скотину

всяку. Хорошо жил. Которы в городе остались. Вот Сурканы. У них много сыновей было. В Понькиной один живёт. Или вот в симаковской-то землянке жил. Да как его... Вот забывать стала. Парнишечко у него был, Исик звали. Девка ещё Ольга. Он ещё еврей был. Фу ты – Абрам Исаакович. Воду возил из пруда на свинарник, или с водокачки потом. Да парашу со свинарников.

Прицекарь был где-то... Райлян Федя и Автеника, что напротив нас жили. У них два парня было. Один учился в Кургане в институте. Вон Слоновских – наискосок от нас. Потом все поуезжали, когда их отпустили домой. По десять лет им ссылки давали. Я потом переписывалась со Светкой Слоновских. Родители у ней там померли, и брат Женька. Хорошие люди были. Женька здесь у нас в деревне киномехаником работал.

Ерудей-молдаван на быках тут робил. Ему конюхи на конном дворе сказали, что как двенадцать раз на “пожарке” пробьют (была у нас каланча построена и наверху подвешена труба. На “пожарке” всегда дежурили день и ночь. И время отбивали), то выпрягай. Пробили двенадцать часов, а он по плотине ехал. Остановился, выпряг. Ведёт быка в поводу. Смеху было. А бричка там осталась, у пруда.

Они научили быков своему языку. “Цоб” – направо, “Цобе” – налево. Быки хорошо их понимали. Кормить-то быков они кормили, но почему-то забывали их напоить. До плотины доедут, быки-то их вместе с зерном, с бестаркой в воду завозят.

Жили они очень обособленно, даже между собой мало общались. Много трудились. Честно, добросовестно отбывали свой срок. Хотя Сталин давно уже умер.

В космосе летали спутники с собаками Стрелкой и Белкой, побывал там и первый человек – Гагарин.

А молдаване всё ещё жили в холодной Сибири, вдали от своей виноградной Молдавии.

Вначале мы шибко радовались, что купили с мамой новый светлый, чистенький домик, красивый. Это после землянки он нам таким показался. Молдаване такие домики очень быстро делали. Намешают саману – глина с соломой, завернут штанины и топчут, или быков заведут и ходят с ними по глине. Изготовят стены из жердей и обляпают эти жерди с двух сторон саманом. Выровняют стены гладенько, подведут крышу, покроют камышом или соломой опять же. Живи – не хочу. Только почему-то полы деревянные не настилали. Пол был земляной. Печку не из кирпичей, а тоже из глины сляпают, с низкой лежанкой на одного человека.

А как они появились у нас в Сибири? Это товарища Сталина надо было спрашивать. А охотников на такие вопросы не находилось почему-то... Он – “Отец наш...” очень любил эти перестановки: евреев – в Биробиджан – на Дальний Восток, татар из Крыма, немцев из Поволжья – в Казахстан, Чечню – в Сибирь. Русских на Колыму и в Магадан. Молдаван из Молдавии в Зауралье. Так они оказались в нашей деревне. И по всей Курганской области были расселены по деревням.

Домики у них у всех были разные по размеру, в зависимости от величины семьи и от состава работников, т.е. строили по своим возможностям, но все мазанки были чисто выбелены, всегда опрятны, сверкали аж, особенно к праздникам. Люди они были верующие, набожные, спокойные.

В северной части совхоза им. Будённого вскоре по ту и другую сторону лога засверкали белизной молдаванские хатки. Земли у нас было много. Чернозём. От молдаван мы научились выращивать и кукурузу, и кабачки, варить мамалыгу, садить сады – яблони, сливы, вишню. Соседи они были очень добрые, отзывчивые на чужую беду, скорые на помощь. Угощали нас своими посылками, приходившими им из Молдавии – урюком, грецкими орехами.

Почти все уехали, когда их отпустили домой. Теперь они приезжают строительными бригадами в наш совхоз. Строить нам свинарники. Мы сами, видимо, так и не научились. Они зарабатывали денег за лето на машину или на дом.

Сосланные молдаване работали больше на быках. Возили на них брёвна, сено, солому, зерно от комбайнов, картошку в мешках. У них такие необычные нашему глазу повозки были – арбы, с высокими перекладинами из жёрдочек. В семьях они всегда говорили только на своём языке. А ребята ихние в школе хорошо научились по-русски говорить. Учились прилежно. Родители дома говорят что-нибудь ребятам по-своему, а те отвечают им по-русски. Родители ругаются, так как плохо понимали ещё русский язык.

Я в пятом классе сидел за партой с одной молдаванкой. Она в совхозе им. Демьяна Бедного жила – это в соседнем совхозе, в четырех километрах от нашего. Демьяновцы учились в нашей семилетней школе, а жили в интернате, на выходные дни домой бегали, школа у них была только начальная.

Молдаванка очень красивая была. Черноглазая, как омут глаза, бездонные. Волосы как смоль. Лицо белое, белое. У ней ноги плохо ходили. Инвалид была... Всегда в белой отутуженной блузке ходила и в чёрной юбке. Очень умная девочка. Хорошо училась.

После 1967 года молдаванский край исчез...

Весной, и по ту, и по эту сторону лога, где когда-то белели выбеленные хаты, теперь буйно растёт крапива, репейник, кое-где еще цветут старые кусты черёмухи да буйно-белоснежные яблони.

Кто оказался сосланным в Сибирь? Молдаване на десять лет? Или мы на вечное поселение?

Они уехали, а мы остались... Здесь...Навсегда... На своей исторической Родине...

МЕДАЛЬ

После окончания техникума меня в армию забрали. Отслужив три года, я вернулся домой. Совхоз уже назывался не им. Будённого, а участок №4 “Октябрь” совхоза “Красная звезда”. Все деревни объединили в один совхоз – Фрунзе, Таволжаны, Просвет, Октябрь, Демьян Бедный, Погадайку, Погорелку с центром в Максимово – в «Красную звезду»

Знаменитый совхоз “Красная Звезда” под руководством директора Ефремова Григория Михайловича гремел на весь Советский Союз, сдавал государству восемьдесят тысяч центнеров свинины в год. Построили первую асфальтированную дорогу в деревне, загородили плотиной речушку Барнёвку. После смерти бразды правления самого огромного совхоза перешли к его сыну – Михаилу Григорьевичу Ефремову, который ещё больше присоединил деревень – и Дёмино, и Зевакино, и Понькино, и Ермаково, и Полевую – почти половина Шадринского района посевных площадей теперь у него. Но и такой совхоз-гигант начинает разваливаться от нынешних реформ...

Когда я вернулся из армии, молдаванского края уже не было. Все уехали домой в Молдавию. Осталось несколько домов, где жили русские. Соседка Кланя Зайцева техничкой в школе работала. Повесилась. Чуть дальше жил тракторист Коля Медведев. Тоже пытался повеситься, но вытащили из петли. Вскоре его переехал гусеничный трактор. Ноги ампутировали. Он ездил на ручной коляске. Но недолго пожил после этого. Помер.

Мама забоялась там одна жить, рядом с лесом. Решила переехать поближе к центру, к народу. Купила старенькую избушку но деревянную. В саманной мы сильно с ней намёрзлись. Одной ей стало жутковато, хоть и не пакостили в те годы, нечего у ней было воровать-то. Ничего не нажила, хоть и весь век на свинарнике горбатилась. В

военные годы, правда отметили её. Вручили медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне (1941 - 1945 г.г.). С профилем товарища Сталина...

Как жила на задворках, так и осталась там. Сейчас тот заулочек, в котором мы жили, завален поросычьим навозом, не пройти и не проехать. Осталось всего два дома. Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Иванович Бирюков и моя мама Задорина Анастасия Семёновна – ветеран труда. Забывать стали ветеранов. Один раз в году, осенью, пригласят в столовую, накормят обедом, рюмку водки нальют. А кто хочет выпить, тот и не одну выпьет. Пожалуйста. Этот праздник стали называть днём пожилого человека. Единственный праздник остался у избранных на государство ветеранов. Живут они теперь больше своим трудом, питаются со своего огорода – что Бог пошлёт... В основном картошечка.

А начальники в двухэтажных коттеджах со всеми удобствами проживают... Теперь они настоящие хозяева стали...узаконенные... А трудовой народ как был рабом, так им и остался... Даже денег не платят за каторжный труд месяцами...

НА ПРОПОЛКЕ

Чтоб мы по деревне не болтались попусту и не бедокурили, нас, ребятню и девчонок, начинали приобщать к государственному труду.

В то время у моей мамы пальцы у правой руки оторвало силосорезкой И ее поставили бригадиром над ребятнёй, кою она должна организовывать на прополку ячменя и пшеницы. Почему-то тогда хлеба очень сорные были. Много осоту особенно было. Мы должны были взять дома варежки, а то осот – растение очень колючее. Голыми руками немного его надёргаешь.

Моя мама ставила ребят у края поля на рядки. И мы

шли до другого края поля цепочкой, пропалывая хлеба от сорняков. Девчонки дёргали осот руками.

А ребята, народ более сообразительный, поэтому после первого же дня обзавелись орудиями труда. Сделали дома секиры. Что-то среднее между саблей и серпом – короткая металлическая пластина, заточенная на наждаке. И на второй день мы уже как будто чапаевцы на резвых конях “гарцевали” вокруг “беляков”, срубая им головы – осоту и молочаю.

И романтично, и забавно, и в то же время заняты делом. Хоть какая-то да польза. Так занимались прополкой несколько дней. Обедали где-нибудь на краю поля на опушке берёзового леса. Шуму и визгу прибавлялось. Дуррачились и донимали девчонок, опуская им за ворот разных мохнатых гусениц или букашек. А то приносили с собой ножи и в лесу вырезали из дедилек брызгалки. На поле всегда привозили бочку с водой. Летом в жару особенно хотелось пить. Но вода шла не по назначению, а для брызгалок.

Устав от беготни друг за другом, залезали на вершины берёзок потоньше и спускались с “парашютом”. Не думали, что берёзка может сломаться, весили-то мы как пушинки. Были худющие. Когда я ходил в баню с бабой и дедом, да с их девками (бывало в баню ходили всей семьёй) – Нюра всё говорила: “Ну, ты, Лёнька, и “шкелет”. Одни кости”. А дед отвечал: “Ничего, были бы кости, мясо нарастёт”. А дедо Семён был тоже худой, сутуловатый. Но в любой работе очень проворный. Он говорил: “Ты не смотри, Лёнька, что я худой, зато я жилистый и вёрткой”.

Вот и я тоже старался никому не поддаваться из своих сверстников, даже тем, кто на год-два постарше меня.

Во время обеда устраивали борьбу. Кто кого оборет. Или играли в третий лишней. А после обеда снова шли в кавалерийской атаке “рубать неприятеля” – сорную траву – колючий осот.

ПОРА СЕНОКОСНАЯ

Где-то классе в пятом нас уже “запрягли” в настоящую совхозную работу. Увозили в болота под Ворошилово – в “Девятое” или “Одиннадцатое” – возить волокуши. Утром рано будят. Вставать не хочется. Глаза точно склеил кто-то. Маме надоест кричать: “Лёнька, вставай, на работу надо!” Наберёт в рот воды и фуркнет на меня. Мигом сон обдирает. Выскочишь во двор, умоешься из бочки обжигающе холодной водой и за стол. Наешься горячей целой картошки с молоком, а мама как всегда скажет: “Айда с Богом, сынок. Пора на работу”.

В конюховке найдешь сбрую-узду, хомут, дугу, седелко, еле выволокешь всё это на улицу и пойдёшь ловить в выгульное свою лошадь, которую тебе дали на время сенокоса. У меня была кобыла – “Волга”. С этого дня ты рабочий человек в совхозе. Может ещё не очень уважаемый. Много ещё придётся услышать насмешек, ухмылок и ехидных подвохов со стороны более старших ребят, мужиков и баб. Но это будет сделано не со зла, а для того, чтобы ты знал своё дело и не подводил остальных. И чтоб был всегда начеку, чтоб сбруя была всегда в порядке. Чтоб не случилось чего-нибудь во время работы, каких-то неполадок по твоей вине. Тогда обсмеют, что тошно станет. Вот и приходилось всё делать на совесть, доброту и аккуратно.

Покажет конюх твою лошадь, поймает тебе на первый раз. Покажет, как запрягать. А на завтра – будь добр, всё сам сделай. Вот и ходишь по выгульному за своей лошадью, а она никак такому мальцу не хочет ловиться. Пока не узнает тебя, да пока ты её не прикормишь, да не поговоришь ласково. Доброе слово, говорят, и кошке приятно. Вот тут-то и начинается твоя самостоятельность. Ездить на лошади да запрягать наука вроде бы не такая уж мудрёная для деревенского мальчишки, но когда это дело у

тебя впервые, да поручают тебе как взрослому рабочему это ответственное дело, когда ты уже не сам по себе, а часть коллектива, когда от тебя дело зависит и другие люди, то сразу как-то становишься старше, ответственнее. Волнуешься. А вдруг да сделаешь что-нибудь не так.

Оденешь хомут на шею лошади, повесишь дугу, застегнешь седелко и, подведя лошадь к изгороди, запырщишь на её худющий хребет. Твой костистый задочек на её хребте никак не совмещается. Передвинешься на один бочок и наблюдаешь, чувствуя себя взрослым. Сверху тебе всё хорошо видно, как люди суетятся, готовясь к сенокосной поре, собирают грабли, вилы, топоры, косы, грузят в кузов грузовика, сами залезают. Шутят, хохочут. Парни-холостяжник, да армейцы присосеживаются к одиноким бабёнкам, прижимаются к их грудям как бы невзначай. Женщины повизгивают от удовольствия, нехотя отталкивают ухажёров – бывших солдат-дембелей...

Мы, ребятня, отправляемся на стан первые. Кто-нибудь с нами постарше. Отъехав от деревни и скрывшись из виду, переходим на галоп. При такой скачке сливаешься с туловищем лошади и не ощущаешь боли в копчике. Только ветер шумит в ушах, да утренняя прохлада ударяет тебе в лицо. Да брякотня дуги о хомут или седелко никак не дают себя представить сказочным героем-богатырём, летящим на бой с Кощеем бессмертным. Что ты просто мальчишка на захудалой совхозной лошадёнке - кобыле или мерине скачешь вместе со своими сверстниками среди пашен, полей, берёзовых перелесков в утреннем тумане росных лугов. И ты совсем не подозреваешь, что эти минуты неповторимы и навсегда останутся в твоей взволнованной душе. Этот ветер в лицо, стук копыт, запах луговых трав смешанный с запахом лошадиного пота, и улыбающиеся ребячьи лица будут навсегда отождествляться с тем пониманием малой и милой Родины, которая у тебя и есть самое заветное на этом свете...

Прискачем на стан, сбрую снимем, лошадей отпускаем пасться. Пусть отдохнут. На завтра начнётся у них рабский труд. Без выходных, на солнышке при сорокоградусной жаре, при скоплении кусачих до крови сотен оводов.

Стан обычно делали возле воды – озерка или болотца, в котором водился карась и гольяны. Ставили морды и сетки, ловили рыбу на уху. Это километрах в 8-10 от деревни. Кругом были обширные поляны, не годные на пахоту. Косили даже осоку.

Бывало, что “газон” (ГАЗ-51) с народом обгонял ребятню на лошадях, обдавая густой пылью. Лошади шарахались от машины, сильно боязливые были; бывало взрослому мужику не поддавались, если машина возле проходила, так рвались из рук, что могли разбить по кочкам или колдобинам телегу или ходок. Как с ума сходили от страха – глаза бешеные, кровавые, в удилах пена.

Возле стана устраивали шалаши, в которых спали. После скачек ходишь с непривычки нараскорячку – будто в штаны наклал. В кровь избита задница о лошадиный хребет. Долго не заживали коросты. На другой день надо опять садится – волокуши возить, а весь зад болит. Вот и вертишься на хребте лошади так и сяк. Пока коросты не сойдут.

На стану уже молоточек постукивает, литовки отбивают. Завтра чуть свет мужики помоложе уйдут косить. Повариха начнёт готовить завтрак, обед, ужин в огромном котле. Вьется дымок костра, вкусно пахнет едой. Нам приказано вырубить две волокуши – это значит надо найти пушистую и достаточно длинную берёзку толщиной чуть толще оглобли, в которые мы будем запрягать своих лошадей. Натаскать сушняку к кострищу. Другие парни готовят морды, наполняя их жмыхом и лезут подальше ставить в камыши, чтоб побольше гольянов и карасей зашло в эти морды.

Когда наши лошади остынут немного после скачек, мы

поведём их к кочковатому болоту на водопой. Вода кажется чёрной, на самом деле она чистая. Это земля на дне чёрная. И сами пьём из этого же болота.

Первый день кажется нам, ребятам, самым радостным, оживлённым, взволнованным, лёгким. И счастливым. Всё уже видно не раз, каждое лето это повторяется, но эти приготовления всегда желанны и трепетны. Все запахи другие, чем в деревне, чище, ядрёнее, волнующе пахнет свежескошенным сеном на шалашах, пахнет луговыми травами, запахи дурманят, кружат голову молодухам и парням-дембелям. Они ходят по пояс голые, загорелые, мускулистые, самоуверенные в своей неотразимости и вечной молодости. Вечерами долго не могут уснуть, собираются группами, курят, насказывают и наждахатывают. Прохаживаются первые парочки, вскоре исчезающие от людских глаз...

*Эх, матаня, ты кудерек,
Я не сам тебя завлёл,
Ты ко мне ластилася,
Рядышком садилася...*

С вечера бригадир разделит всех по звеньям, по бригадам – кто с кем будет работать и объявит норму выработки: сколько надо накосить, сколько тонн сена сметать. А пока все весёлые, сильные, не уставшие! Завтра вставать с солнышком, часа в четыре, поэтому ребятню отправляют спать. Ночью не дают спать комары, шпигуют. Так что сон не в сон.

Утром бригадир будит – ходит от шалаша к шалашу. Вставать ужасно не хочется. Дома привыкли вставать поздно. Лежи, не лежи, а вставать придется. Тем более, что это твой первый день. Ты рабочий. Работать за похлебку – это было в те годы в порядке вещей во всей тогдашней России или вернее Союзе. Будь малец или взрослый че-

ловек Я не помню, чтобы мы, ребятня, зарабатывали какие-то деньги. Так, копейки какие-то платили.

Выбегаем из балагана и к болоту умываться; вода прохладная. Бегом к костру, там теплее. Туманище стоит – в двух-трёх шагах уже плохо видно. Кони как в молоке, где-то рядом фыркают и хрустят свежей травой. Возле костра уже сидят с алюминиевыми чашками взрослые. Едят кашу.

Проглотив кашу, берёшь узду и бежишь искать свою лошадку, приготовив ей кусочек хлеба с солью. Распутываешь ей передние ноги, накидываешь уздечку и ведёшь её на водопой. Запрягаешь в волокуши. Ребята-армейцы будут накладывать, а кто-нибудь из девчат подскребать за волокушами. А ты должен везти эту копну сена к месту, где стоит зарод.

Мужики, что у зарода, сваливают сено, уперев вилы черенком в землю. Самое главное искусство – это правильно подрулить к месту, которое тебе укажут мужики у зарода. На первых порах и тебя и лошадь твою окрестят “фольклерно-многоэтажно”, если что-то не так. День за днём ты осваиваешь это нехитрое мастерство и уже не переживаешь, как в первый раз, услышав многоэтажный фольклор в твой адрес. Ко всему привыкаешь. А вечером всей ватагой гонишь на желанный стан во весь галоп, рассекая горячий летний ветер и полыхающую огнём зарю. А потом в балагане долго обсуждаешь с ребятами новости дня.

Один раз возили волокуши из самого болота, но вода в нём высохла. С кочек осоку скашивали и вывозили, чтоб план по сену выполнить. Я на кобыле ездил по кличке “Волга”. Умная лошадка была, хорошо бегала. Но худая, заезженная да изробленная... Видно на середине болота между кочками не затянуло трясину травой. Вот моя “Волга” и провалилась в эту няшу. Я напугался, соскочил с лошади.

Старшим в звене был тогда Павлик Константинов, ма-

ленького роста мужик, но крепкий, накаченный, чернявый, похожий на татарчонка, тёртый в жизни мужик. Уже побывавший в “зоне”. Он один фокус такой показывал, что все ахали от ужаса и удивления. Брал топор и с размаху ударял остриём лезвия по своему животу. Топор только отскакивал. Ничего себе фокус? А? Недавно в районной газете читаю о происшествиях в деревнях. Того самого Павлика зарубил топором собственный сын. Вместе пили. И подрались... Тоже фокус получился... Но очень грустный...

...Провалилась моя “Волга” по самое брюхо. Её Павлик черенком отвил по голове и по хребту лупит, а она ворочает испуганным большим глазом, в котором отражается как в кривом зеркале мужик с огромными вилами с большими кулаками и разинутой зубастой пастью-ртом. Матерится мужик, орёт, с размаху бьёт это беззащитное животное, а она не может ничего ни сказать, ни ответить, ни увернуться от удара. Только невыразимая боль в её большом чёрно-красном глазу... Наконец-то кто-то догадался распрячь лошадь да просунуть жердь под живот. Собралось много народу, подняли лошадь, вытянули из чёрно-коричневой жижи.

Почему-то я себя в это нынешнее жесткое время ощущаю вот такой же утонувшей лошастью... Сердце разрывается, а поделаться ничего не могу...

СЛАДКИЕ ЯБЛОКИ

Мы с ребятнёй, военной и послевоенной безотцовщиной, эти яблочки от “сладких яблонь” первыми начинали пробовать. Дома-то не шибко каких сладостей видели. Только-только завяжутся яблочки, и мы их уже пробуем. Эти “сладкие яблони”, видимо, специально посадили в центре сада, а возле их вышку поставили. Там сторож день и ночь находился. Мы же, насмотревшись фильмов о войне, о партизанах, видя как они немцев отвлекают, тоже

решили, разбившись на группы, заходить в сад с разных концов. Одна группа идёт на край и там шумит, будто рвёт яблоки. Сторож услышит и туда бежит. А вторая – в это время налетает на “сладкие яблони” и набивает карманы и за рубаху, зелёных, ещё горьковато-сладеньких небольших яблочек. Вокруг же все яблоки были такие кислые, аж глаза на лоб выворачивало. Потом они тоже вкусные станут, но это позже.

Сторож иногда сторожил сад с берданкой. Это такое ружьё-переломка, двадцать восьмого калибра. Как звезданет по ребятам солью. Не дай бог кому попадёт в зад – будешь весь день в пруду сидеть да соль растворять. А если Миша Шушарин – яростный повелитель порядка – на коне прихватит – не сдобровать его кнута-плётки. Не жалел никого из ребятни. Жиганёт по спине, аж рубаха лопаётся. Пацан упадёт, заверещит от боли, а Миша до того злющий был, поймаёт пацана, вытряхнет яблоки из-под рубахи и давай их толкать ребёнку в рот. Чуть рот не разорвёт или не задушит. Витька В. это на себе испытал.

Но ничем не остановить братву от жажды романтических приключений; на всё готова пойти ради сладеньких яблочек.

Один раз я своего двоюродного брата Тольку зачем-то с собой утянул в сад. Опять одна группа отвлекает, другая рвёт яблоки. Я попал с братишкой в команду, которая отвлекает. А на краю сада был берёзовый колочек, густо поросший шиповником и бояркой. Ребята, что пошли в середину сада, смотрят, с вышки никто не уходит, как мы там не шумим. Хоть и боятся, а всё равно подбираются поближе к “сладким яблоням”. Настолько приблизились, что стало видно этого “сторожа”! Им оказался сноп из травы, и будто с руками – тоже снопом, только привязанным поперёк. Этот «сторож» был подвешен на верёвке. Ветерок его покачивает, а издали кажется, что кто-то шевелится на вышке. Ребята довольны, что сторожа нет; а

он, оказывается, спрятался в лесочке и подкараулил ребят, которые отвлекать пошли. Да как выскочит.

Мы врассыпную. Я с братишкой замешкался. Схватил его за ручонку и за собой. Ему года четыре было. А сторож с вилами за нами. Вот страху-то натерпелись. Несушь всю прыть, да ташу за руку братишку, который до земли ногами не достаёт почти. По воздуху летит.

Вначале мы быстро от сторожа оторвались. Может со страху. Но сторож не попускался. Всё бежит за нами. Да вилами над головой грозит. Это было как в страшном сне, когда тебя преследуют бандиты, а ноги не слушаются, словно ватные стали. Бегу, а сил уже нет. Ребята увидели, что отстаём, подмогли, схватили брата за другую руку. Бежим, да оглядываемся, а сторож не отстаёт. Уже задыхаемся. Страх ещё сковывает. Километра три он за нами тянулся. Но старость сдалась первой. Мы убежали в далёкий лес, а домой этой дорогой боимся возвращаться. По лесам, да по лесам, такой круг дали, чтоб прийти домой с другой стороны. Уже темнеться начало. Родители не хватились нас, так как мы почти каждый день летом допоздна играли где-нибудь.

То в прятки по шишебаркам-репейникам, да по дурбетнику в крапиве, в конопле или лебеде прятались да в прятки играли. Все изжалимся в крапиве, а сидим тихо. Пока глядящий уйдёт подальше, чтоб потом выскочить и наверняка застукаться. Летом долго светло. До двенадцати ночи бывало всё играли. Придёшь домой, кружку молока с хлебом навернёшь и спать мёртвым сном. Так убегаешься, что хоть из пушки пали, не разбудишь. А утром шанежек картовных или творожных с молоком намякаешься и опять бегать на целый день. То в овраги уберёмся. Там на ягодах – землянике и клубнике питаемся. Или луковицы саранок копаем, да камышинные шилышки едим или мучку – корень камыша. Или гранатник чистим да едим. Только его осторожно надо, чтоб губами не задеть,

а то волдыри будут. Или за пучками уйдём, а там и навыврезаем трубок из дедилек и наделаем брызгалок. Вот и брызгаем друг друга. То кислятку на угоре за “Кирпичным” ползаем едим, то ягоды какие-нибудь охобачиваем за обе щёки. То чеснок дикий ищем. Всяко место ели, лишь бы желудок набить. Всё вкусно казалось.

ПТИЦА ОРЁЛ

Саманные молдаванские хаты не очень-то годились для сибирских морозов, но другого жилья у нас с мамой не было. И в землянке мы уже досыта нажились. Хотелось вылезти из земли, выпрямиться. Вздохнуть свежего воздуха, увидеть свет...

...Я часто забирался на тёсовую крышу нашего нового домика и сидел там, разглядывая с высоты молдаванские хаты, их дворы, скрытую за заборами жизнь. На чердаке у меня жили голуби. Поэтому я лазил на крышу каждый день, кормил их.

...Один раз мы с ребятами заприметили гнездо в лесу. На толстой сухой без вершины берёзе. В гнезде кто-то шевелился. Берёза была высокая, и ствол почти без сучков. Но я всё равно полез, воспользовавшись ремнём; так добрался до сучков. Что-то ребята загалдели и показывают руками вверх. Я оглянулся – к гнезду летела большая хищная птица с огромными крыльями. Я чуть не свалился от страха. Ребята стали кричать, свистеть, кидать в неё палками. И птица отлетела в сторону. Мне оставалось подняться на два-три сучка, чтобы запустить руку в гнездо. Боюсь, всё посматриваю по сторонам – где же та птица, а сам подбираюсь к гнезду. Поймал птенца за лапу и кинул его ребятам, чтоб ловили. Птенец расправил крылья и плавно спланировал. Ребята мигом его изловили, хоть он и попытался от них удрать вприпрыжку. Летать он ещё не умел.

Мы принесли птицу ко мне домой. Привязали верёвкой в огороде за ногу. Чем кормить-то тебя будем? Читал в книжке, что таких молодых птенцов можно было обучить охотиться на зайцев и лисиц. Мне так хотелось приручить этого орла, как мы его стали называть. Узнал, что орла надо кормить сырым мясом, чтобы он стал ручным. Где взять мяса? Сами-то мы мясо видим только зимой, когда курицу сварим. А орлу надо сырого мяса. И каждый день не по разу. Ребята придумали, что будут стрелять из рогаток по воробьям. Но попадания были очень редкими.

А орёлик наш пищит – есть просит. Клюв свой орлиный, крючковато-острый щерит, из которого острый маленький язычок торчит. Страшно! Аж мурашки по коже пробегают. Додумались пойти на зерносклад, где в соломенных крышах внутри сараев, мы частенько находили воробьиные гнёзда с яйцами или с птенцами. Принесли воробьят, и орёл стал глотать их целиком. На писк птенчиков взрослых воробьёв слетелась целая туча. Все верещат, а орёл – всех громче. Хоть уши затыкай. Кто-то из ребят начал отрубать воробьятам головы и мы этими безгласными частями стали кормить нашего повелителя-орла. Писку поуменьшилось.

Случилось в ту пору гостить у нас моей двоюродной сестрёнке из Свердловска. Она была лет на пять помладше нас. Городская. Воспитанная, не то, что мы – шалопаи деревенские. Белобрысая, худющая, но ростом на равнее почти что с нами. Правда, мы её как бы и не видели и не слышали, хотя от себя и не гнали. Это потом, когда она подросла, то все мои друзья – и Лёнька Р. и Сашка Ш., и Пашка Ч. – все влюбились в её по уши. Тут уж она стала королевой и её право было выбирать...

А пока... Нам надо было что-нибудь придумать – чем же всё-таки кормить орла-обжору. Увидев казни над воробьятами сестрёнка как закричит на нас, как наскочит, чуть не с кулаками: “Что же это вы делаете, изверги, прокля-

тые! Да неужели вам, бесстыжим рожам, не жалко этих маленьких птенчиков! Вы слышите! – показывает она на кричащих на прясле воробьёв, – вы слышите! Нет? Как это их отцы и матери ревут – по своим птенцам, которых вы у них утащили! Да скармливаете этому идолищу проклятому! Утробе этой ненасытной, которая не жуёт их, а целиком глотает! Ну, не стыдно ли вам, оболтусы вы бессердечные!

Мы опешили, не ожидали такого натиска от девчонки. Остановились. Это был не взрослый окрик, более менее привычный, а крик души ребёнка “малого”, увидевшего и понявшего раньше нас, что все наши затеи выкормить одного орлёнка за счёт смертей многих других, малых птах – это просто-напросто убийство. Дошло ли это до нас тогда? Видно, дошло. Мы прекратили продолжать это кровавое месиво... А птице-орлу всё мало, всё не насытится никак и разевает свою хищную пасть да пищит устрашающе.

Очумев от шума, криков и крови, ребята будто очнулись и стали нехотя расходиться по домам. Каждый придумал свою причину. Кому надо дрова колоть, кому воду таскать.

И я полез на крышу к своим голубям сизокрылым, вспомнил о них наконец-то... Что голубей мне надо накормить. Вечером подзывает меня мама и говорит:

– Лёня, ты снеси эту большую птицу в лес. Нам не надо её. Нельзя её держать дома. Может беда приключится... Она закричит по-своему, а её отец с матерью прилетят сюда и тебя могут утащить вместо этого птенца... Они же большие – звон какие у них крылья-то. И сильные шибко. Чтoб счас же снёс. Понял? А то я сама стащу.

Что делать? Вздохнул я глубоко. Надо в лес орла тащить. Да отпускать. Замотал его в большую тряпку. Понёс. Иду и оглядываюсь. А если и вправду он сейчас громко запищит? Как прилетят большущие птицы-орлы...

Внушение матери подействовало. Солнышко уже село. Несу орла в ближайший лес, за песочные ямы, где кладбище виднеется. Не доходя до леса, отпускаю птенца. Он подскочит, да подлетит немного. Уже лучше стал летать. Посмотрит на меня и как-то боком, боком заулепётывает. Насиделся на привязи.

Где он сейчас? Выжил ли?

ОБЛАКА – МОНСТРЫ

На следующее лето, когда у нашей курицы-паруны появились жёлтенькие цыплятки, то высоко в небе обязательно начинала кружить большая хищная птица. Орёл или коршун. Мы их называли мышеловками.

Я любил залезать на тёсовую крышу нашего саманного домика и, приложив руку ко лбу, наблюдать за парением этой, с огромными крыльями, птицей. Петух тут же горланно кричал об опасности. Куры разбегались. И парунья уводила цыплят под сарай, упрятав их под своими крыльшками.

Птица всё кружила и кружила, на фоне синеющих кудлатых облаков. Мне казалось, что это была та птица-орёл, которую я пытался приручить, чтоб охотиться с ней на зайцев и лисиц. И вот она, встав на крыло, и прилетев с юга, кружила и кружила надо мною, может быть, узнав знакомые места. Птица то улетала, то снова прилетала и кругами парила в свободном полёте. Однажды я помахал ей рукою, и она стала, кажется, круг за кругом приближаться к нашему огороду. Но раздался выстрел... Рядом с нами жил охотник. И птица рухнула к его ногам.

Я видел сквозь слёзы, как он победоносно поднял её окровавленное тело и растянул крылья. Их размах был шире человеческих рук. Довольный охотник приколотил эти крылья к деревянной поперечине, распял орла на кресте и выставил у себя на огороде для устрашения...

Всем высоко и свободно парящим в небе...

С тех пор я с грустью сидел на крыше и смотрел только на облака. Мне чудилось, что иные летние кучевые облака бывают очень похожи на страшного старика с большой кудрявой бородой. Это было то время, когда наша страна стала обладателем устрашающего, опустошающего и разрушающего все оружия... В то же самое время и случилась авария на “Маяке” под Челябинском. И вся атомная отравка пришла в р. Течу, а из неё в нашу речку Исеть...

Порой июльские облака выглядели вполне мирно и только к вечеру они начинали напряжённо алеть грозовой синовой. Я любил наблюдать за этими облаками-чудищами. Они были все такие разные: то напоминали морды собак-бульдогов, то какие-то огромно-бородатые карлики сердито ссорились между собой, то драконы какие-то доисторические выползали на свет божий...И другие страшные звери грезилась...

Как-то мы с мамой идём к бабе Дуне через огороды. Картошка уже зацвела бело малиновыми райскими цветами. А по небу громоздятся синие тучи и ярко выделяются кучевые огромно-тревожные облака. Я глянул на небо, а там такие два великана шевелятся едва-едва и готовятся к схватке друг с другом...Ссорятся. Вверху громыхнуло, тучи сгустились...Я показываю маме и говорю, что вон они опять появились. Сейчас драться начнут.

Иногда я даже ночью от этих видений просыпался и в страхе дрожал и кричал, махал руками, стараясь защищаться от этих надвигающихся зловредных великанов-облаков. Мама тоже испугалась за меня. Я рассказал ей, что я долго наблюдал за небесными чудищами. Видимо, фантазия моя до того разыгралась, что я поверил в жизненность этих облаков- монстров. И они продолжали меня мучить во сне.

Мама повела меня к бабушке, которая умела “ладить” детей от испуга – к Шуплецово Наталье. Лечила она и от

сглазу, и от энуреза и других болезней, кои наши учёные врачи не признавали. Привела меня мама к бабушке, посадила на табурет поближе к красному углу, под иконы. Бабушка достала из печи воды с угольками, пошептала молитву и ещё что-то, перекрестила и побрызгала на меня этой водичкой. И мне легче стало. Сразу стал спать спокойно. Перестал кричать ночами и вскакивать в страхе.

Облака превратились в обыкновенные белые безобидные куски ваты, плывущие в голубом безбрежном просторе. Они меня почему-то перестали интересовать и волновать. Так я постепенно разучился и отвык смотреть на небо.

Поступил в техникум, зубрил технические науки. Учился хорошо. Всегда на стипендию сдавал, то есть на четвёрки и пятёрки. Отслужил в армии.

И, кажется, лишился в своей душе чего существенного, то есть самого себя, что ли... Может моей неуёмной фантазии? То есть бабушка Наталья вернула меня с небес на грешную землю...

И когда я стал жить в Свердловске, то полюбил ходить на выставки художников, которые рисуют природу. Меня это сильно взволновало, я вспомнил детство. И тоже начал учиться рисовать. Сначала в изостудии, потом в институте; мне нравилось до самозабвения рисовать небо, землю и цветы... Так я стал художником. Значит, полностью меня "отключить" всё-таки не удалось. Техническую специальность пришлось забросить, страсть к рисованию победила.

В армии, я снова заскучал по небесам, так как я служил в ПВО и охранял небо. Порой я даже грущу теперь, что мне перестали грезиться те фантастические виденья-облака. Но и полностью земным и практичным я всё-таки не стал. Так витаю всю свою жизнь между небом и землёй – во взвешенном и неприкаянном состоянии...

Но с тех пор, как я стал художником, я уже никогда не

расстаюсь с небесными фантазиями, которые я люблю наблюдать в любое время года. Облака в моих картинах несут очень эмоциональную нагрузку. Окрашивают пейзаж то лирической гаммой, то наполнены движением и драматизмом времени...

...Видимо, до конца дней моих мне не расстаться со своими видениями. Каких только зверей там нет: и фантастических, и вполне реальных, земных. И собаки, и медведи. А сколько разных людей там! И старики бородатые – то ли божества какие, то ли ангелы, то ли апостолы. В последний раз я видел такого огромного Бога в облики древнего старца-пророка в 1992 году, стоя на волнорезе черноморского побережья Кавказа. В Адлере. Во время шторма в феврале месяце по небу низко-низко громоздились огромные сизо-чёрные тучи... Море хлестало о волнорез, обдавая солёными брызгами. Гудел шторм, яростно с чем-то не оглашаясь. С грохотом ударялись волны о неприступный бетон. Белая пена разлеталась водяной солёной пылью. По небу тяжело ползли бесконечные тучи.

Я стоял и смотрел на небо, а сердце сжималось от щемящего одиночества. Я просил Всевышнего о милости...

Тут я увидел этого старца...

Хмурого, сердитого. Я не отрываясь смотрел и смотрел на него, пока он не уплыл и не истаял у горизонта, будто погрузился в морскую пучину возле Кавказских гор.

Это, видимо, его сердитая энергия налетала на берег морской волной, гремя гальками, хлестко ударяясь о бетонный волнорез. Море кипело и негодовало на весь белый свет. Правители готовили против народов Кавказа очередную зачистку...

ЦВЕЛА ЧЕРЁМУХА

Переехав из землянки в саманный молдаванский домик, мы с мамой посадили под окнами черёмуху и яблоньку, да две бухарских вишни, на которых бывали крупные бордовые ягодки. Яблоки были хоть и не большие, но ярко-красные и вкусные.

Кустик черёмухи выкопали в лесу. Цвету вначале было немного, но соцветия были крупные. По весне заблагоухают, аж голова кругом. С каждым годом всё пышнее и пышнее цвела наша черёмуха.

Я заканчивал техникум.

Как-то мы, послевоенная безотцовщина, собрались у одного нашего дружка отмечать Первомай. Тогда все советские праздники обязательно отмечали компанией. Родители – своей компанией. И мы – пацаны – тоже решили отметить своей. Собрались. Кто бражки принёс, кто бутылку вина. Девчонок мы тогда ещё не приглашали. Стеснялись их вроде. Собрались в бараке у одного из друзей. Длинный коридор, а направо и налево – комнатухи, где жили одинокие свинарки. В комнатах обычно стоял стол, кровать и каминчик сложен. Собралось нас человек шесть-семь, нажарили картошки. Только готовились в стаканы наливать, стучится к нам кто-то. Это оказалась молодая женщина.

Она напротив жила. И одинокая...

– Ой, мальчики, как у вас хорошо! Хоть бы меня пригласили, – посмеивается она, покуривая тоненькую папироску “Прибоя”.

– Слушай, Соня, а что, давай приходи к нам! – говорит хозяин квартиры. – Если у тебя ничего не намечается, – а сам ухмыляется и подмигивает ей.

– Я что пришла-то. Дай-ка мне, Толик, пару луковичек. Потом отдам.

– Да брось ты. На. Давай, приходи!

– Ладно, подумаю, – уже в дверях отвечает она.

– А она ничего, а? – потирает один из нас, хлопнув в ладоши, будто большой специалист по женской части. А сам, наверное, ещё ни разу в жизни не целовал ни одной девчонки. Мы улыбаемся. Вроде всё понимаем, на что он намекает...

Через несколько минут опять появляется наша соседка в нарядном платье. Красивая... Притягательная... Она несёт в двух алюминиевых чашках закуску: винегрет и студень. Комната наполняется запахом дешёвых духов, щекочущих наше юношеское воображение.

– У-у-у, – гудим мы в голос. Довольные. Убегает ещё на секунд и заходит с бутылкой вина.

– Тебя, Соня, сейчас поцеловать или потом, – подкапывает к ней хозяин комнаты.

– Можно потом, – поддерживает она, подёргивая плечиками. Но будто тут же передумав, отвечает: “Ладно, Толик, давай сейчас!” – и подставляет щёчку.

Толян от неожиданности немножко опешил. Смущённо вытянул губы и едва прикоснулся губами к женской щеке... Соня подошла к столу.

– Ну-ка, мальчики, потеснитесь, – и раздвинув наши юношеские костистые плечи, стала садиться в середину между мной и Вовиком.

У меня от прикосновения женского тела кровь прилила к лицу. Будто током обожгло. Я не помню, как мы пили вино, играли в карты. Меня жгло это жаркое тело, как железная печка-буржуйка, на которой в землянке мы с ребятами пекли резаные ломтиками картофельные печёнки. Тем более, когда Соня подвыпила, она стала запросто обнимать нас, по-товарищески. Мы для неё были ещё пацаны. Нам где-то по 15-17 лет было, а ей около тридцати.

Как она заразительно смеялась. Её тело дышало жаром, окутывая нас какой-то необъяснимой вязкой паутиной, Она-то знала это... А мы, чуть захмелевшие от выпив-

того ещё сильнее хмелели от этих искристых. глаз и милой улыбки, от её жара и свободы, С нами так запросто обращались впервые...

– Ну, что вы за мужики! – Ещё сильнее разжигая страсти, говорила Соня. – Ну хоть кто-нибудь меня обнял бы, а? А то сидите как железные! Не додумаетесь.

И она брала чью-нибудь руку, рядом сидящего, и запросто клала себе на бедро.

– Вот так! Вот молодец! И покрепче держись! Чтоб я никуда не убежала! А то обижусь на вас. И пойду искать кого-нибудь посмелее!

А мы сидим рядом с нею, потеем. Пот чуть с носа не капает. Но руку не убираем. Хотим выглядеть мужчинами.

– Ну всё, мальчики! Хватит сидеть! Состаримся когда, тогда и наиграемся в карты! Давайте-ка лучше в “офанаса” поиграем! Пойдёмте ко мне. Здесь стол оставим, не будем убирать.

А мы не были против. В “офанаса” так в “офанаса”. Пацаны и есть пацаны – лишь бы во что-нибудь поиграть. Одному завязали глаза платком и он стал ловить нас. Визгу, шуму стало. На весь барак. Вот это был праздник. Впервые такой шумный, весёлый.

А вместо одной Сони, как будто бы стало пять... То тут она, то там. И никак её не поймаешь. Каждый галящий обязательно старался только её поймать. Осмелели. Подвыпили, да ещё глаза завязаны. Не стыдно. И огромное желание поймать Соню, хотя бы дотронуться до её упругого тела. Но она увёртывалась, взвизгивала, когда до неё дотрагивались.

Бывали и счастливые секунды, когда удавалось поймать Соню. Приходилось её крепко-крепко держать, иначе она тут же вырывалась. А чтобы удержать, прижимаешь её так, что аж разгорячённое тело вибрирует всё, пытаюсь высвободиться. Это что-то было неопишное. Каждая клеточка твоего тела трепетала от какого-то ещё

неизведанного ранее чувства близости женщины. Твоё тело вспыхивало от её тела как спичка. А когда развязывали тебе глаза – то ты не знал куда девать свой взгляд... И руки ещё долго дрожали...

Было раннее весеннее утро. Пышно цвела черёмуха, дурманя ароматом своим. Через два года, когда меня провожали в армию, также собирались у нас. Под черёмухой. Уже с девчонками. Играла радиола. Мы танцевали, прижимаясь к своим девчонкам. Я провожал Аннушку. Возле её дома остановились Она пригласила меня домой. Родителей не было дома. Я не решился. Мне нравилась другая девчонка. Так и распрощались мы с ней...

Теперь часто встречаемся в городе. Она уже бабушка. Нянчит внуков. Улыбаемся заговорщицки, вспоминая тот вечер.

*“Нельзя, нельзя черёмуху зелёную ломать...
Нельзя, нельзя девчоночку несватаную брать...
Не сватану, не венчану, не обручённую...”*

Вспомнил я любимую песню, которую пела моя мама.

ДОЖДАЛАСЬ!

Только когда двигатели запустили и их свистящий гул заставил думать о происходящем, я, наконец, ясно ощутил, что лечу домой. Сколько времени мечтал об этой минуте! Если честно признаться, то всё время службы в армии.

Первый год пролетел незаметно, весь в “тревогах” и хозяйственных армейских заботах, учёбе и тренировках. Бывали минуты отдыха или, как отмечалось в распорядке дня, личное время, когда можно немножко помечтать, сыграть в домино или шахматы, написать родным и друзьям письмо. О доме вспоминалось, как о далёкой звезде.

Второй год прошёл относительно спокойнее. Появились

новые друзья-однополчане. Главное – служба начата. Но ночные “тревоги” – и учебные, и боевые – продолжали беспокоить. Приходилось бдительно охранять дальневосточные рубежи. Иностранцы самолёты-разведчики то и дело шныряли вдоль нашей воздушной границы.

На третьем году армейской службы стали “старичками”. Собираясь по вечерам в курилке, перед отбоем всё чаще и чаще думали о доме, о своих любимых, спорили о новой жизни на гражданке. Сны были продолжением этих разговоров.

Но вот всё позади. Я возвращался в родную деревню. Можно даже вздремнуть. Нет, не могу. Впереди встреча с домом. Поднялись выше облаков. Всю жизнь смотрел я на них, на этих “небесных монстров” снизу, а сейчас вот, впервые – сверху. Ослепительное зрелище! Будто летишь над безлюдным снежным простором. Иногда в просветах покажется земля. Речка блеснёт голубенькой змейкой, извиаается ниткой дорога, а домики возле неё – крохотные кубики.

– Интересно, чувствует ли мама, что я возвращаюсь сегодня? Наверное, чувствует.

Загорелось табло “Не курить”. Пристегнуть поясные ремни”.

– Ура. Приземляемся. Совсем немного и дома!

Автобус дребезжит на неровной дороге. Замелькали за окном родные места.

– Дома! Уже почти дома!

Сумерки всё плотнее окутывали колки, дорогу, стога на пашнях. Люди в автобусе сонно покачивались. Я вспомнил: мама писала, что она переехала из молдаванского края, из саманухи поближе к народу. Все молдаване, отбыв десятилетнюю ссылку, уехали в Молдавию. Купила себе небольшую старенькую избёшку.

– Ну вот, вроде подъезжаем, последний поворот пошёл.

– Да, да - подтвердила рядом сидящая женщина. – А

мать-то твоя уже заждалась тебя, – продолжила она. – Каждый день ходит встречать на остановку. Ездил даже в город, была на вокзале. Много, говорит, демобилизованных видела. И сейчас, наверное, стоит ждёт...

Впереди замелькали огоньки родной деревеньки.

Автобус остановился.

– Вот и приехал... – подумал я.

Взял чемоданчик и вышел последним. Сердце стучало. Огляделся, глаза не привыкшие к темноте, ничего не видели.

– Здравствуй, Лёня! - услышал я.

Передо мной стояла моя тётка Прасковья. Обнялись, расцеловались.

– А где же мама? Что с ней?

– Всё хорошо. Жива, здорова. Только поздно отработались сегодня. Дома уже, наверное. Того и гляди прибежит. Ну, пойдём, а то ты и не знаешь, где теперь твой дом.

Только мы успели отойти от остановки, как я увидел, что впереди кто-то бежит нам навстречу.

– Мама!

Я выпустил чемодан, бросился вперёд.

– Сыночек, родненький!

– Здравствуй, мама! Ну, не плачь. Я же вернулся.

– Это у меня от радости, Лёня. Давно тебя жду. Каждый день встречаю. Наконец-то приехал! Дождалась. Думала не дожждаться...

– Мама, ну пойдём домой, а то вон тётка Прасковья уже озябла.

Тётка стояла чуть в сторонке. Тоже утирала слёзы. Она, может быть, вспоминала дядю Серёжу – брата, погибшего под Сталинградом. Или своего мужа – дядю Ваню, который пришёл израненный, а вскоре умер. Или сына Виктора, который живёт на Севере, далеко. Я взял свой чемоданчик, обнял маму за плечо и мы пошли домой. Каждый думал об одном и том же, и всё же о чём-то своём.

ПРОЩАЙТЕ, БЕЛЫЕ ЛЕБЕДИ

Прошёл год, как я вернулся из армии. Живу в г. Свердловске. Работаю на заводе в конструкторском бюро. Инженер-конструктор. Вечерами хожу в изостудию. Очень захотелось научиться профессионально рисовать. Стать художником.

Приехал домой в деревню. В отпуск. Написал несколько первых этюдов акварельными и масляными красками. Затягивает это увлечение. Не ем, не пью, всё на природе нахожусь. Высматриваю видочки. Брожу. Размышляю. Весна будоражит и мысли и чувства.

Выспросил у мамы, где они жили до переезда в эти края. Она рассказала, что в деревне Лебяжье. У озера. Там была красивая церковь. Я загорелся посмотреть родину моих предков с красивым названием – Лебяжье. Что-то, видимо, связанное с лебедями, с белыми, красивыми, гордыми птицами, улетающими на юг и обязательно возвращающимися в родные края. Так мне захотелось побывать на этом озере, а Бог даст, – может и увидит этих божественных птиц.

Одел свои дембельские брюки, солдатские сапоги, курточку из болоньи – весна уже тёплая стояла. Зазеленели деревья первой пушисто-дымчатой нежной зеленью. Середина мая. Птицы перелётные почти все прилетели. У меня к тому времени отросла небольшая рыжеватая бородёнка. Этюдник на плечо и пошагал по просёлочной дороге на гору в сторону д. Белоярка. Я эту дорогу как свои пять пальцев изучил. В детстве с ребятами часто бегали в эти края, на Берсулез, так называлась ферма, где коровы жили. Где матери наши работали. Примерно посередине между Будённым и Белояркой, что возле Куликова болота.

И за грибами сюда хаживали, и за вишенъём. Недалеко тут я волокуши возил в болоте у Дубровой, где дедо Се-

мён сена за одно утро по тонне накашивал. “Доброе-то сено не давали косить-то, – рассказывает моя мама, – одну осоку приходилось косить – резунью. Её что есть и скотина не хотела есть-то. Он пойдёт утром в четыре часа и до одиннадцати часов накосит один тонну. С этой тонны можно было брать одну копну себе, то есть центнер. Если накосит три тонны, то себе три копны. Но за это маленько оплачивали. Но больше соломой коров-то кормили. Осоку-то в кочках, в болоте косили. Володька Гурьев – зять – на зароде стоял, да большой пласт столкнул, да сшиб деда Семёна. Он заматерился: “Слезай – говорит. Оттудова. Володьке-то. – Иван, залезай”.

Много было зятьёв-то у Задорина Семёна. Иван Павлович – тётки Прасковьи муж, Иван Петрович – тёти Таси, Евгений – Нюры, Сано Самылов – Шуры, Володька Гурьев, – Валин. Да внучата подрастали. Ты, Лёш, уже волокуши возил. Прасковьины ребята – Маша с Виктором, тоже помогали. Мария-то уж робила, а Виктор в техникуме, учился.

А косить в жару молодым неохота. Сломают черенок у литовки. Думают – не заставят косить-то. А может ненарочно ломают. Кочки были, пеньки да чаща. Дедо делает им черенок из сырой берёзы. Новый. Подаст, косите дальше. Тяжело косить-то, осока твердущая. И пока дедо Семён не скажет на обед идти, никто не смел самостоятельно бросить работу. Вот так строго держал нас. Слушались отца-то. Хоть и у самих уж семьи были. Не то что теперь. За человека не считают отца-то, как пустое место. Одной матери маленько подчиняются.

А часов у деда никогда не бывало. Он на солнышко посмотрит и скажет, что рано ещё обедать. А минут через пятнадцать: “Вот счас пора”. И точно – по часам сверят – времени два часа. Как он отгадывал, не знаю.

Мне бывало на смену надо бежать. Я дежурила на конном дворе. Он говорит, что рано. Никогда не отпустит пораньше, главное, я из ночи приду да там, ещё с ними, на

сенокосе роблю целый день. А вечером опять в ночь заступать. Не давал нисколько отдыхать-то.

Раз вместе косим, то потом он сена нам с тобой, Лёня, давал. У нас тогда ещё корова была, когда в саманухе-то жили. Потом ты ушёл в техникуме учиться, дак я продала корову-то. Вот это я бегу ещё около “Плотины”, а уж семь часов бьют на “пожарке”. Раньше на “пожарке” часы отбивали. А мне на смену-то к семи надо. Я сразу на конюшню бегу. Домой некогда забежать.

...Счас избы-то тятиной нету там. Вон она сколь маленька была, а глико какая семья: восемь человек жило. Счас она у Никитиных на конюшню перевезена. Маленькая вовсе стала”.

...По этой дороге мы с ребятами и в Белоярку ходили, на Белый Яр – гора такая белая, большая и крутая. Прямо в речку Барнёвку скатывались. Да “чёртов палец” в этой горе рыли. Кристаллы такие прозрачные. Они легко стругаются ножом. И помогают залечивать всякие ранки. Настрогаешь и посыплешь на больное место. Или любили пескарей да щурят майками ловить в омутах. Бродили по округе в пяти, десяти километрах от дому целыми днями и питались чем придётся.

Вот я и пошёл теперь той же дорогой. До Белоярки дошёл. Порисовал у Белого Яра. Потом поближе к центру ещё раз раздвинул треногу этюдника. Видочек карандашом рисую. Подходит ко мне пожилой хроменький мужичёк, маленького росточка – где-то метр с шапкой. Скособоченный – одно плечо выпирало из шерстяного чёрно-серого мятого однобортного пиджачка, купленного явно навырост. Чуть виднелись синеватые галифе, заправленные в выдавшие виды, нечищенные никогда и такие же скособоченные яловые сапожищи с загнутыми вверх носками. В одной руке у него была деревянная трость. То ли инвалид где покалеченный, то ли с детства такой. Никаких медалей и орденов на пиджаке не было. Видимо с

детства ушибленный. Может с печи пал. Даже побрякушки – “Ударник коммунистического труда” не было – самой распространённой награды.

Видимо, научившись кое-как грамотёшке читать и писать, он прочно вошёл в обойму руководителей старого пошиба. Он представился председателем местного сельского Совета и попросил у меня документы. И разрешение снимать местные виды. Я опешил. У меня в первый раз в жизни незнакомый человек спрашивал документы. Хотелось послать его подальше... Чтоб не мешал работать.

Но мужичёк так серьёзно был настроен, что шутить с ним становилось опасно. Какой-то холодок пробежал по спине и переместился в область живота. Под ложечку – в солнечное сплетение. У меня даже голос перехватило. Язык будто присох во рту. Я не знаю, что ему ответить. Какие могут быть документы, в деревне. В деревне и паспорт-то люди вовек не видали. Но я-то в городе живу. Я в отпуске. И документы с собой никогда не ношу. Тем более, что я в родных с детства краях. К чему весь этот балаган? Будто сон страшный снится...

Не понаслышке знал, что деревенские начальники, те что кое-как выбивались во власть, занимали эту должность почти всегда пожизненно и держались за неё “зубами и когтями”. И где основной обязанностью своею считали повелевать всем и вся, а особенно – бдить! Не дай Бог, чтоб какой-нибудь в его владениях враг народа не объявился или там какой-нибудь шпиён-диверсант, снимающий их деревенские планы! Молодец, мужик! Зри! И бди! И всё будет в порядке. И будешь в почёте, должность при тебе, а страна в процветании! Чтоб соблюдалось всё согласно, и в свете решений...

Все увечные и туповато-наглые начальники очень рьяны и дотошны, а вернее, настырны и упрямо-прямолинейны в выполнении возложенных на них обязанностей. Готовы в лепёшку разбиться, но выслужаться. А может быть

возвыситься... Я с удыбкой рассказываю ему, что документы с собой не ношу. Он осматривает мой этюдник, меня, бородатого, и моё полувоенного вид обмундирование, на цыпочках стараясь разглядеть – чего это я там снял, какой план ихней деревни. Крутит головой – сравнивает рисунок с оригиналом. И не изменяя бдительной серьёзности на лице командует мне: “Пройдёмте, гражданин”.

Но этого я опять никак не ожидал. Думаю: “Пошутил мужик с документами и хватит”. Так нет ему надо ещё дальше продолжить эту комедию.

– Куда пройдёмте? Ты чего, папаша? Того что ли? Рехнулся уж совсем. Крыша что ли поехала?

– Разговорчики, гражданин. А будете выражаться – я при исполнении.

– О, боже! В какой же тёмный угол я попал! Время-то на дворе, посмотри, старый хрыч, какое! Тысяча девятьсот семьдесят первый год! А не пятьдесят первый. Сталина-то уж давным-давно нет.

– А будете сопротивляться, я сейчас созову народ, – всё чеканит скособоченный сельсоветчик. – Пройдёмте, пройдёмте, гражданин. Не задерживайтесь.

Внутри у меня всё кипит. Но я собрался путешествовать на родину предков. Вот она родина! Вот они предки. Система жива! И действует, работает беспрекословно. Все шестерёнки крутятся, все “винтики” на своём месте... Прощайте белые лебеди...

КОНТРА

Когда я приезжаю в родные края, то обязательно иду рисовать деревенские мотивы, уйду в поля или в МТМ (машинотракторная мастерская), навещаю побеседовать с мужиками о житье-бытье. Раз пришёл в кузницу. Хотел нарисовать кузнеца – Петра Колпакова. Он такой

приземистый, небольшого роста (ниже среднего), крепко сбитым, коренастый. На лице всегда будто отсветы пламени кузнечного горна. Кажется, что здоровьем так и пышет от него. Жил он в своём доме, построенном собственными руками. Вся усадьба была лично обустроена – дом, конюшни рубленые, сад разведён, колодец в саду. Словом – хозяин первейший, каких ещё поискать в нашем зачуханном участке, где одни люмпены остались – ни кола, ни двора. Работать Пётр пошёл рано. В войну, ещё пацаном. Везде переробил. Досталось, конечно. Всё “на пупке”, всё голыми руками пришлось поворочать...

Пристрастился к ремеслу кузнечному. Пошло дело. Мастеровой мужик – золотые руки, как говорят. Любил он своё дело делать на совесть, а не шалаяй-валяй, как некоторые “пролетарии”. Пролетали и ни за что не отвечали... Сыновья выучились, в армию сходили. Он их стал к своему ремеслу приучать, к кузнечному делу. Сначала молотобойцами. Они ребята тоже были невысокие, ладные, кудрявые. Так бы и звенела железная музыка кузнечная до сих пор, если бы не один случай, которому я стал свидетелем.

Петро всегда говорил то, что думал и прямо в глаза, а не под одеялом дома. Тем начальникам, которые “пороли или городили хреновину” то есть нагло ввалили или загибали “на холодно”, или несли ахинею и откровенную демагогию, т.е. “вешали лапшу на уши”, что тошно слушать. Эта пустопорожня трепотня с серьёзной харей из уст “политруков” страшно расходилась с делом, с жизнью. Эти начальники жили как баре, а работяги горбатились на них и ничего почти не получали за свои труды.

Раз Петро и высказал это вслух на так называемой “политинформации”, когда парторг проводил её с механизаторами, зачитывая газетные передовицы. Этому политикану ужасно не понравилось, что Петро имеет своё мнение, и он взбеленившись, обозвал Петра “контрой”. Сколь-

ко дикой ненависти вылилось в лицо рабочего человека. Это был 1975 год. Период брежневского застоя. Проходило мероприятие и политическое притом. Накачивание политической трескотнёй, а по-другому – воспитание личного состава механизаторов в духе верности родимой Коммунистической партии.

Это попросту - словоблудие, дикий обман уже взрослых и пожилых мужиков, повидавших жизнь, которые сами умели читать, слушать и видеть...

Петро, конечно, вспылал, не мог сдержаться, не смог стерпеть такого оскорбления при всём народе. Схватил железяку и замахнулся на политикана. .. Кто-то из сидевших рядом удержал его от криминала...(от лагеря).

Это была и видимая, и невидимая гражданская война. Победителем в которой были “верха”... И чтобы исключить дикий и беспощадный бунт, через десять лет была придумана перестройка. Опять же там – наверху .

Хоть и не сталинские были времена, но власти всё ещё пытались удержать в людях страх и непререкаемое подчинение и единомыслие.

После этого случая Пётр крепко запил. Напропалую... Затосковал шибко... Хотя и раньше прикладывался. А тут и вовсе «по-чёрному». Вскоре и помер. До пятидесяти лет не дожил.

Опустела кузница...И я перестал туда заглядывать. Остановилась музыка труда. Сыновья не захотели горбатиться на тех, кто сидел на их шее. И понукал... Разъехались из деревни.

Но, помыкав горе в других местах, через несколько лет вернулись. Нет, видимо, роднее места там, где человек родился и вырос...

Потом злые языки наговаривали на Петра и на других мужиков, которые умерли, что их Бог наказал за то, что они ловили голубей и, сварив их в мастерской или в конюховке, ели, закусывали, нещадно потребляя “бормотуху” -

красное дешёвое вино по рубль две копейки за пол-литра. Сейчас хоть и скинули некоторых нахлебников и горевоспитателей, но на их место много новых появилось... А Петра уж не вернёшь... Как и многих других спившихся мужиков...

ЖИВЫ БУДЕМ – НЕ ПОМРЁМ

Третий день идут проливные дожди. Днём темно и сумрачно, как вечером. Осень наступила с началом сентября. Первого сентября даже снег пошёл – слекиша. Холодно стало. Пришлось печку топить. Чуть перестал дождик и я решил в огород сбегать. Одел сапоги, штормовку. Дождь будто увидел меня и припустил с новой силой. Я нарвал моркови, огурцов, что остались из последних, кочан капусты скороспелой – аж треснула. Один кабачок. Тыквы ещё растут. Но такие громадные, что одному не поднять наверное. Еле дотащил до дому ведро с подножным кормом. Опять заболел позвоночник – огород у нас далеко от дома – километра за полтора будет. При новом режиме – при капитализме – я стал безработным. Творческие люди оказались не нужны. Время требует хапуг, воруя, бандюг, “крутых” всяких, да наглых и хамовитых, хитрых и бессовестных бизнесменов, т.е. “новых русских”, которых раньше называли просто – спекулянт, наживающийся на перепродаже государственного товара. Производители нынче не в моде. Всё производство уже почти встало. И подъёма не предвидится. Грустное время. Вот я и занимаюсь выращиванием подножного корма, чтобы выжить в дико безденежное время. Доллары всё затмили. А тем, кто честно работает на заводе, фабрике или учит детей, денег не дают по полгода и больше. Попробуй, выживи без огорода, без своей картовочки, морковочки, луковки и свёколки.

Тут мама позвонила на днях. Говорит, что помидоры на-

спели. Я там у ней теплицу сделал. А у ней нынче две курицы выпарили цыплят самостоятельно, где-то в крапиве. И привели домой. Время к осени. Поздние цыпушки. Надо за ними ходить, кормить да выхаживать. Теперь ей никуда не выбраться будет из дому. Даже в лес не убежать – по грибы или по ягоды, по вишенье, боярку или шиповник. Она мне полную сумку всего наклала. И помидор, и ягод, да грибов солёных, да яичек.

Я приехал к ней утром. Утром же и обратно уехал. Опять она меня провожала до остановки. Говорит : “Айда с богом!” Про новую книгу спросила. Я подал ей. Она посмотрела картинки, ничего не сказала.

Собака Цыган у ней потерялась. Она его по всей ограде и по деревне выискала. А он в садике, где смородина, лежал несколько дней. Он такой старый стал, что ослеп и оглох. И нюх потерял. Куда уйдёт, то сам уже не может вернуться на прежнее место. Мама уж говорит, что задавить бы его, чтоб не мучился, но жалко, да верёвки, говорит, нет тодельной... Одна яблоня возле окон посохла, я спилил её. Черёмуха тоже посохла. У тополя ветки на вершине появились сухие. Всё умирает...

Перед дождями я убрал лук, два мешка привёз. Лук крупный вырос. И картошку выкопал, тоже хорошая. Хоть и рано считают, но не захотелось мне в грязи да холоде ковыряться. Мешков восемь накопал. И сухую спустил в погреб. Теперь радуюсь, что не послушался на уговоры не копать рано.

Грязь стоит непролазная, уже неделю мочит каждый день.

...Вспоминаю как весной я всё сажал в огороде. Посадил я огурцы на землю. Уж все сроки прошли. У людей-то на навозных грядах уж цветут огурчики вовсю. Думаю, не дожждаться мне своих огурчиков. Только взошли, смотрю – кто-то стал их съедать. И соседи тоже замучились их высаживать. Кто-то съедает, то ли мыши, то ли козявки

какие. Много их нынче развелось. На чужое-то. На “халяву” – на соседское да на государственное. А я всё подсаживаю, да подсаживаю. Смотрю – начали отрастать огурчики. Только дождусь ли плодов? Начали цвести и всё пустоцвет. Стал поливать каждый день. А такая жара да сушь настала, что на земле трещины появились. Уж пора окучивать картошку, а дождя всё нет и нет. Но смилостивился Господь – таких ливней послал, что у меня три луны с огурцами смыло. Свеклы полгряды только осталось. А по картошке такой овражек вымыло, что и земли неоткуда взять, чтоб засыпать. Я раза три принимался после ливня окучивать картошку, но дождик как припустит опять, я с поля бегом под кусты. Пересажу. Как перестанет – я опять продолжаю окучивать, Да такая картошка наворотила, что соседи позавидовали.

– Хорошая у тебя картошка выросла, – говорят.

А они почти не окучивали, да не пололи. Да семена неурожайные посадили. Картошник у них весь в траве рано посах. А я ещё не раз окучивал, да пропалывал. Если с душой, да любовью, да с Богом работаешь, то и результат будет иной. Уж сентябрь наступил, а огурцы у меня и растут, и растут. У многих уж засохли. Видимо, росой холдной обожгло. А у меня они за кустами тальника спрятались, поэтому, слава Богу, обошлось. Мы с женой уж двадцать банок засолили. И знакомым в город давали. Зина говорит, что у дяди Лёши рука лёгкая. Что ни посадит, всё растёт. Аж дурит.

Мы сидим с женой ужинаем – едим жареную картошку. Философствуем: “Вот, всё надо делать с любовью, с радостью. Тогда и всё получаться будет. И с Богом”.

Вспоминаю мамины слова, когда я в школу в первый класс пошёл. Она вышла из землянки за мной, проводила до ворот. И перекрестив меня в спину, сказала: “Айда с Богом!” Я довольный, побежал в школу. На боку холщовая из мешка сумка болтается. Так она провожала меня

всегда. Может поэтому я и учился хорошо. С любовью, со старанием, с прилежанием, с Богом.

...Вот только оказалось всё зря. Не надо было учиться... А надо было болтаться, лодырничать, пропускать занятия, воровать, хамить, наглеть, ругаться... Тогда бы я может преуспел в этой жизни, как многие теперь... Ни «бе», ни «ме», а устроились на “доходном месте” и живут припеваючи.

Да только мне их жизнь не по нутру. Не уважаю я таких людей, хоть и живут они всем на зависть. А корчат из себя пуп земли, якобы “уважаемые люди”. Осоловелыми глазами, будто замороженными, уставятся на тебя и нос кверху – “сопли пузырьём”. И глотка словно лужёная. Если что не по ним – готовы тебя с потрохами сожрать. С пеной у рта рвут “кусочек пирога” хоть у соседа, хоть у государства.

Да Бог им судья... Пусть они наполняют свои жирные пузы. Только бы не мешали. Но они утверждают свой стиль жизни, своё мировоззрение. Как противостоять этим “новым русским”? Наворовавшим народных денежек да разбогатевшим на наглости и спекуляции, да около властной кормушки. И утверждающих свои дико-эгоистические интересы своего клана, своих бандократических структур.

СЛЕЗИНКИ ВЕСНЫ

Приехал я на выходной к маме в деревню. Сидим за столом. Солнышко пригревает сквозь стекло.

За окном тихий зимний пейзаж: дома, сараи в белых шапках, заборы увязли в сугробах, тополя стоят безучастно ко всему на свете. Лишь воробьишки спокойно переговариваются да ерошат пёрышки, сидя на кустике черёмухи.

Бывает, сидишь вот так и с нетерпением ждёшь чего-то...

Чуда, что ли?.. Солнце многоцветно помигивает искорками снежинок. Хотя и не чудо, но умиротворение приходит... Невольно улыбнёшься увиденному. Огромный лохматый соседский пёс Мишка тянет под угор поваленные набок санки, а за ним весь в снегу неуклюже ковыляет мальчишка лет пяти и старается ухватиться за санки, падает, спешит подняться. Пёс неожиданно останавливается у большой желтоватой глыбы снега, обнюхивает её.

Тут и настигает его наездник; ставит санки на полозья, подходит к собаке – головы их оказываются на одном уровне. Мишка пытается лизнуть мальчика в лицо, но мальчик отворачивается и, поправив ошейник, тащит пса с великим трудом обратно в горку.

Совсем как в моём детстве. Где ты, дружная и вольная послевоенная безотцовщина?..

Вдруг точно клинком кто-то взмахнул. Пролетела одна, а затем другая сверкнувшая капелька. Не поверил, стал ждать. Неужели капель?

Но так и не дождался...”Показалось”, - думаю.

Наверное, две слезинки весны скатились; как будто из глаз моей мамы что сидит за столом напротив меня и задумчиво-озабоченно смотрит на своего непутёвого сына-мечтателя...

ЦВЕТЫ ВДОВАМ

На девятое мая я всегда старался приехать к маме. К этому времени и нынче огороды уже вспахали. Пошли садить с ней картошку. Садить – не копать. Быстро разбросали. До обеда поправились. Смотрим – тётка Прасковья с дочерью Марией всё ещё садят. Пошли с мамой к ним. Я взял лопатку. Мы с Машей копаем ямки, а мама с тёткой бросают картофелины. Хорошо, когда много помощников. И тут быстро поправились.

Тётка давай на стол собирать. Всё-таки праздник се-

годня - День Победы! Хоть и не радостный. Пришёл её Иван с войны израненный – да вскоре и умер. Опять она одна с ребятишками осталась. Но вырастила, выучила, хоть и одна работала.

Отужинали. Праздник отметили. Пошли по домам.

А мне что-то в мозги вдарило. Уже темнеть зачало, я вспомнил, что за “кирпичным” у нас всегда подснежники росли. И побежал. Не ближнее место на ночь глядя в лес бежать. Хмель в голове. А про клещей энцефалитных даже и не вспомнил. В наших краях их сильно много по весне бывает. Всё нервное отделение заполняется “клещевиками”,

Дошёл до “кирпичного”, с километр примерно. Уже еле различаю полевою дорожку. Чуть не на ощупь иду. А до лесу ещё столько же, где подснежники цветут. Это за Понькинской гранью. За большой поляной. Возле омутов на бугре, где мы в детстве с ребятами целыми днями купались в этих холодных и чистых, да глубоких омутах. Разбежишься с крутого берега и ныряешь в эту холодную бездну. А вода чистая-пречистая. Всё дно видно, как гольяны и пескари там резвятся. А мы тоже вроде гольянов были. Купались без одежды, голенькие. В лесу никто не видит. Носимся по поляне нагишом, а потом сигаем в воду. Аж обжигает тело от холодной родниковой воды.

Тут, возле этих омутов и цвели по весне подснежники. Я вспомнил детство, цветы и попёрся, на ночь глядя... “Дурная башка – говорят, – ногам покою не даёт”.

Прихожу на эту поляну уж в темноте. Хорошо, что каждый кустик, каждое дерево с детства знаю. Почти наугад иду. Темень...

Какое-то трепетное волнение охватило. Тут должны подснежники цвести. Опустился на колени, стал чуть ли не ползком осматривать этот бугор. Мне уж под пятьдесят.

И точно! Засветились, будто фонарики теплятся, горят слабым внутреннем светом. Вот они сердешные! Красав-

цы пушистые! Стал рвать. Вот ещё группа. Вот ещё. Уж ничего не вижу кроме цветов. Мгла опустилась на землю. Да ещё кругом берёзы. Неба не видно. Нарвал цветов – окружался. Не знаю в какую сторону идти. Еле сориентировался. Пришёл в деревню часа через два. Как слепой иду. Ничего не вижу. Стучу к тётке Прасковье. Они уж закрылись. Спать ложиться собираются.

– Ты это откуда? – спрашивают.

Я захожу с цветами.

– Вот, говорю, – решил. Вас с праздником поздравить.

– С Днём Победы Вас!

И подаю им половину. Остальные маме.

– Ты чё, сдурел? Небось за “кирпичное” сбежал?

– Ага, – говорю. – Туда.

– С ума сошёл! – А сами улыбаются и довольные. – Не боишься клещей-то.

– А я и забыл про них.

– Ну, спасибо, Лёня...За цветы! За поздравление. Садись, посиди. А мы уж спать собрались.

– Нет, я пойду. До свиданья.

И вышел опять в ночь. Со свету и вовсе чёрную... Лишь подснежники в руках да россыпь звёздной пыли вверху едва светятся в этой кромешной тьме... Будто это были живые души тех, не вернувшихся с войны солдат – наших родных и близких, погибших за нашу непутёвую жизнь...

За нашу многострадальную Родину! Слава Вам, Сыны Отечества! И вечная Память! Ваши светящиеся души, точно эти подснежники, указывают нам праведный путь в нашей окаянной жизни!

Мы помним о Вас.

РОДНИКИ ДЕТСТВА

Проснулся рано, в избе пахнет тестом; на столе корчага с мукой. Мама хлопочет возле печи. Пощёлкивают берёзовые поленья, озаряя её лицо светом пламени...

Выхожу на крыльцо. За перелеском, на востоке, истаивают чуть алеющие облака. Тихо. Собираю рисовальные принадлежности и за околицу – утро встречать.

Навстречу попадается знакомый пенсионер, едущий на лошади; бренчат на телеге пустые фляги – он молоко у хозяек собирает. Здравуемся, улыбаемся друг дружке, понимающе подмигиваем.

Сворачиваю к пруду, что зеркалом лежит возле деревни; иду вдоль нежно-зелёных шлейфов тальниковых зарослей и, завернув в молодой берёзовый колочек, останавливаюсь; разворачиваю этюдник, достаю акварельные краски, кисти.

Молодая звучная зелень, запахи цветущей земли, великаны тополя, взметнувшие свои руки-ветви – всё это в каждом новом и бесконечном своём обновлении радует взор, волнует и одновременно тревожит – слишком быстро течёт неумолимое время – не успеешь налюбоваться – глянь, а уж отцвели и черёмуха, и сирень; белым снегом осыпались на землю лепестки яблонь.

...Рядом со мной и по всей опушке разбежались огоньками-солнышками ярко-жёлтые цветы горицвета. Они самые первые встречают восход солнца, повернули свои золотистые венчики к огромному малиново-красному светилу, показавшемуся из-за тёмно-синей кромки леса.

Ну, с Богом! Пора начинать работу. Зачерпываю воды из родника, что рядом размывает берега, образуя омутки, где мы со сверстниками гольянов да карасей ловили кто решетом, а кто майкой, завязав её с одной стороны узлом... Теперь этот овражек стал каким-то мелким, заросшим осокой; и воды в нём только на самом дне чуть по-

блёскивает, но вода чистая – каждую травинку-былинку видно. Зачерпнул я ладонью этой прозрачной искристой влаги и попил... Вода оказалась очень вкусная. Поплескал на лицо, – как обожгло вначале, но потом разлилось приятное тепло. Даже и душа как будто оттаяла...

Попьёшь водицы да умоешься из родника детства и снова ты полон сил. Будто и не прожита добрая половина жизни.

Снова хочется верить и жить...

СОЛНЕЧНЫМ ДНЁМ

Прошёл вдоль застывшего, укутанного снегом пруда и заиндевевшего сада. Добрался до старого птичника, что на середине между Октябрём и второй фермой, которой сейчас нет. Раньше там жили люди в бараках, ухаживали за коровами. Доили вручную. Молоко перегоняли сепаратором на сливки и обрат. Там работала тётя Шура наша.

На старом птичнике моя мама работала, когда мы в землянке жили. Дежурила там. Кур поила, кормила, выращивала. Яички собирала. Чистила клетки. Ничего теперь нет. Ни сада, возле которого прошёл.

Одни дички стали. А раньше всяких яблок много было и ягод. Мы, ребятня-подростки по восемь-двенадцать лет всегда пытались полакомиться яблочками, хотя его и охранял сторож. Какой-нибудь старичок. Я остановился, залюбовавшись мощными старыми берёзами. И на берёзах, и на снегу – кругом рассыпано зимнее серебро. Всё искрится, подмигивает на солнце разноцветными огоньками: все цвета радуги переливаются в морозных драгоценностях, усыпавшие и деревья, и кусты, и каждую травинку.

Смотрю – зайчишка беленький с серенькими ушками промчался от тальниковых зарослей в логу, от болотца – вверх к лесу, что возле сада. Мне дорогу пересёк. Я оста-

новился. Птицы перелетают от одного куста боярышника к другому, лакомятся ягодками, то перелетят в сад, там много мелких яблочек-дичков.

Вон и охотники показались – двое парней идут по следу обезумевшего зайчишки.

В валенках, без лыж, снегу-то ещё не толсто, он мягкий, и пушистый. Легко ходить. Взобрались на бугор, остановились перевести дух. Рюкзаки за спиной поправили, да ружья и разошлись. Один вокруг леса пошёл. Другой – по заячьему следу.

По разным причинам возвращаемся мы к малой родине. Кто просто прикоснуться к духу её, к детским впечатлениям, полюбоваться, отдохнуть душой на природе, у родного камина, маму попроведать... Другие – поохотиться, побродить по родным косогорам, болотцам и колочкам, где каждая кочка, каждое дерево, каждый кусточек знаком с детства. Да и потешить свои охотничьи страстишки, а повезёт, то разжиться свежей зайчатинной, добычей. Кому до чего охота есть...

ГРИБНАЯ ОХОТА

Приехал я к маме картошку копать. А у ней в гостях её младшая сестра Валя из Асбеста. Раньше меня приехала. Не стали меня ждать. Выкопали, пока дождя нет. Бабье лето наступило. Тепло, сухо. Солнечно. В лес так и тянет.

Грибов поискать да ягод побрать шиповника да боярки. Они с Валею накануне оббежали знакомые места. Валя набрала ведёрко шиповника и уехала. Пошли мы с мамой по Понькинской дороге, свернули в колочек. Нет ничего. Мы обратно. Пересекли дорогу и зашли в другой лесочек. Да спустились по угору к тому месту, где наш дядя Ваня из Свердловска отдыхал на полянке. Ходили мы как-то раз с ним и с тётей Тасей по этим с детства знакомым

местам. Тоже грибы искали. Дядя Ваня фронтовик, уж на восьмой десяток перевалило. В Великую Отечественную ему пришлось почти всю Европу пешком протоптать. Он связистом был. Связь устанавливал, таскал катушку с проводом на передний край. Чудом остался жив. Только голова стала белая-белая...

Он больше с удочкой любил на бережке посидеть да гольянов подёргать. А тут с нами пошёл. Притомился. Устал. Ну и прилёг не шелковистую траву-мураву. Разваляхнулся на обе лопатки, наслаждается чистым воздухом и золотистым пламенем осенних берёз на фоне изумрудной и беспредельной вечности. Улетели мысли от бренного мира в космические дали...

Тётя Тася подошла, ворчит на него, что грибы перестал искать. А он улыбается добродушно и отвечает: “Да я уж нашёл их. Вот они – подо мной”. Тётя Тася откатила его как полено в сторону и давай ощупывать мягкую травку. И как обрадуется, да засмеётся громко: “Ну ты, Ваня, у меня молодец какой! Валяйся ещё больше, повсюду. Может ещё под тобой грибы наростут! А мы будем их собирать”.

Долго смеялись, довольные. И наискала там тётя Тася до десятка молоденьких да крепеньких сухих груздочков. Мы с мамой теперь каждый раз заходим на это место, где дядя Ваня отдыхал на грибах. Там всегда нам попадают сухие грузди.

В этот раз мало нашли. Ходили, ходили, еле пятилитровое ведёрко набрали вдвоём. Они с Валею недавно тут были.

В лесу такое чудо. Шуршит под ногами сухая листва. Солнце играет, переливается на жёлтых, зеленовато-лимонных, красноватых, малиновых и бордовых, листьях. Много ягод боярки и шиповника. Вишня уже нет. Его ещё впрозелень обирают, когда чуть-чуть порозовеет один бочок. Бывает попадают редкие ягодки вишенки – спело-чёрные, винно-сладкие, сочные. Мама рассказывает,

что они с Валею баню истопили после уборки картошки. Но Валя не пошла. “Что ли я на корячках в вашу баню за-ползать-то буду?” И смеётся. “Вон я какая туша. Низкие и узкие двери-то. Да и не повернёмся в бане-то. И в рост не встать. И как вы в ней только моетесь? Нет, не пойду. Дотерплю до Асбеста. Дома вымоюсь в ванной. Отмокну. Отпарюсь”.

А мы с мамой и тёткой Прасковьей ничего, моемся. Согнёмся, сгорбатимся и протиснемся в двери. А в бане можно и сидя на лавочке мыться, не вставать во весь рост. Даже попариться в другой раз потянет. Хороший дух, вольный в такой бане. Потому что каменка из кирпича сложена. А не из железа сварена – пока топится – тепло, а прогорит, и не попаришься. Опять надо подбрасывать дров.

А эта выстоится, и заходи парься. Хорошо разопреваешь с берёзовым веничком. Всю усталость после работы снимает.

Мама опять баню затопила, а я пошёл к ручью, к роднику, где решил глину на пробу взять. Бело-серая такая. Попробовать обжечь – какая потом по цвету будет. Кругом всё красно-жгущиеся глины попадают. В последнее время я мало рисую красками. Керамикой увлёкся и рассказами о природе.

Да вот грибная охота настала. Тоже своего рода почти нестерпимая страсть. Источник радости. На природе побывать – это ли не прелесть, особенно осенью. Тут и грусть, и очарование, всё вместе. Так и тянет в лес. Сухих груздочков поискать. Или других каких. И ягод побрать. И, конечно, полюбоваться и наполниться духом щемяще-увядающей красоты...

д. Октябрь
2004 г.

ИЗ СЕРИИ “ЗАВОДСКИЕ РАССКАЗИКИ”

РАСТУТ ЛЮДИ

– Посмотри, Сергеич, – подзывает меня мой начальник КБ Вовин. – Ознакомься. Почитай, верно или нет сформулировано?

... Неделю назад обо мне статья была в газете, что книжка у меня вышла. Начальник видно прочитал. Подходит ко мне и протягивает руку:

– Поздравляю, Сергеич, с выходом книги!

– Спасибо, – отвечаю. Приятное тепло растекается по телу. Я, кажется, растворяюсь и исчезаю на миг... Таю...

– Ты хоть бы принес, показал нам.

А сам ухмыляется хитровато. И вроде как сомневается.

– Нету, – говорю, – книги-то еще. В типографии. Это пробный экземпляр только. А корреспондент поторопился, что книга уже вышла.

Начальник с ехидцей обращается как бы не ко мне, а в пустоту.

– Ты у нас теперь писатель будешь что ли? Али дизайнер? То ли конструктор? Что-то не пойму никак.

Все улыбаются. Собираются вокруг начальника, раз есть возможность отвлечься и побалагурить. Больше никто слова не проронил о книге. И никто не поздравил. Читают попеременно газету, где об этом писал корреспондент. Да шушукаются. Поглядывая украдкой на меня.

Одна молодящаяся пенсионерка села рядом за соседний стол и читает газету. Посмотрит на меня и опять читает. Прочитала, встала и пошла с независимым видом, цокая копытцами-шпильками.

Так я и не дождался больше поздравлений. Не хотят сделать приятное. Или не признают, игнорируют. Не знаешь на что и подумать. Как будто меня и нет. Неужто я отнимаю у них собственный престиж? Или принижая их сверх-

развитое наполеоновское самолюбие? Воспитанное годами просиживания в конструкторском отделе.

Встретил на улице одного знакомого художника. Он остановился, пожал мне руку, поздравил. Как все просто, когда тебя уважают. Да и по лицу видно, если искренне поздравляют.

– Посмотри-ка, Сергеич, – подзывает меня начальник КБ Вовин. – Ознакомься. – И подает мне несколько листов бумаги, исписанных корявым почерком (про который говорят, что как «курица лапой» написано). – Прочитай. Верно, нет сформулировано. Прочитай внимательно. А где не так, потом мне скажешь.

Я прочел. Сделал пометки.

– Вот тут, говорю, – надо писать так: «Выполнить цветные эскизы по оформлению упаковки, а потом уж согласовывать». А не наоборот.

– Согласен, – говорит начальник Вовин. – Счас исправлю. (Исправляет). – Все?

– Вроде все.

– Тогда возьми этот приказ и сходи подпиши у Крошечкина. У тебя, кстати, никаких дел нет в заводууправлении?

– Нет, – отвечаю.

– Ну, все ровно, иди подписывай. Знаешь его? Потом отдашь приказ в «тайную» канцелярию, чтобы отпечатали. Этот приказ должен от нас исходить, а не от маркетинга.

Беру бумаги. Иду в заводууправление. То ли за «бобика» держат, то ли за «фраера». Не пойму что-то никак.

Поднимаюсь на третий этаж. Справа и слева по длинному во все здание коридору все двери, двери, двери, двери... И за каждой из них начальники, начальники и прочие чиновники...

Спрашиваю: «Где тут Крошечкин сидит?»

– А вот, – отвечают. И показывают на дверь, перед ко-

торой я остановился. Читаю: «Помощник директора».

«Ого-го-го! Аж поджилки затряслись! Почему-то все начальники обязательно толстые, важные, хмурые и ужасно злые... Много их пришлось повидать мне за 50 лет. И ни одного порядочного не повстречал. То хам и держиморда, то казнокрад и пьяница, а то тупица и носодрал...

Вот я и завибрировал. Кто же он такой Крошечкин – помощник директора? Я его знал еще по техникуму. Он был постарше на два курса. Уже тогда был известен не только в техникуме, но и во всем городе. Ни один праздничный концерт не обходился без его сольного номера. Только вот песни какие он пел, я что-то запомнил...

Меня он, конечно, не знал, хотя я тоже был не последним. Занимал призовые места в области по боксу.

Прихожу к себе в отдел.

– Ну, как? – спрашивает меня начальник. – Подписал Крошечкин? Не залапывался?

Я сел на свое место. Начал рассказывать.

– Стучусь робко. Захожу к нашему вокалисту. Поджилки трясутся. Он меня вроде не видит. Сидит откинувшись на спинку кресла. В одной руке «Беломорина» дымится, в другой какая-то бумаженция. Он поглощен чтением. На носу пенсне. Стол пустой. Кроме распечатанной пачки папирос «Беломор-канал» ничего нет. Затынется, выпустит облако дыма и опять читает.

Я крякнул пару раз. Он посмотрел на меня из-под очков. Я поздоровался с поклоном. Он взял у меня бумагу. Опять затынулся папирасой. Дым коромыслом: «Бой в Крыму, все в дыму, ничего не видно». Как бы спохватившись предложил сесть. Выпустил клубы дыма и опять уткнулся в документ. Читает бегло. Черкнул разок. Сам довольный такой, лощеный, гладенький. Одет с иголочки. Сразу видно, что артист! Блаженствует.

Порой он исчезает из моего поля зрения. Кажется, что его нет в кабинете. Я один сижу в этом дыму. И этот дым

и есть сам Крошечкин, в который он от счастья превратился. Витает над столом.

Но расходится дым и Крошечкин снова появляется. Как при проявлении на фотобумаге – вначале отдельные его части – то рука с папиросой или бумагой, то очки с носом, то выпирающий живот...

Рядом, на небольшом низком столике стоит ваза с искусственными цветами, кувшин с водой и стакан.

Крошечкин прищуривается, увертывается от едкого дыма, снова затягивается глубоко и, задержав дым в себе на несколько секунд, выпускает, как джина из бутылки, постепенно растворяясь, исчезая.

Я сижу. Жду. Когда он вновь появится, когда же он изучит документ. И вот – появилась рука с ручкой. Вторая рука с бумагами. Перелистывает их. Ищет первый лист. Нашла. И ставит размашисто свою подпись. И протягивает бумаги мне. Я беру, кланяюсь и благодарю, пятась к двери, ежась от оккультного видения. Вот так дела! Вот так сказка!

Он всю жизнь прожил как в сказке. Жил припеваючи. Пел в художественной самодеятельности. Ездил. Участвовал. Занимал. Получал. Работал на заводе где-то между теми и этими... Звезд с неба не хватал. Был инженером по соц.соревнованиям. И, видимо, состоял в элите, в партии. Вон он как-то на улице лихо приветствовал товарища по партии – рука так и взлетала. Вот-вот чуть не срывалось слово приветствия на немецком языке...

Он, видимо, организовывал соревнования, конечно социалистические, кого-то с кем-то! И подводил итоги... (Теперь бы эти соревнования пришлось назвать капиталистическими что ли?)

И вот – чудо свершилось. Дослужился до помощника директора. Теперь только с его визой будут печатать приказы в «тайной» канцелярии. На какую высоту взлетел «певчий кенарь!».

Снова засверкала его звезда фортуны!
Как в далекой юности!
В ученые секретари вышел человек! Растут же люди!

ЖЕСТЯНЩИК

Подходит к моему столу молодая, невысокого росточка женщина с пышными бело-крашенными до плеча локонами и ярко покрашенными губами.

– Мы собираем деньги. По триста рублей.

– И куда это?

– Жестящик умер.

Я не вдаюсь в подробности. Достаяю пятьсот. Беру сдачу. В отделе постоянно собирают на что-нибудь. То день рождения, то на пенсию кого-то провожают. Но чаще всего на похороны. Женщина процокала как лошадка к следующему столу. Казалось бы все. Можно забыть этот буднично-эпизод. Но я не могу успокоиться. Но не от слова “умер”. Мы до того привыкли, что мрут люди чуть не каждый день у нас на глазах. Не сходят эпитафии с фотографиями на заводском стенде объявлений. Из головы не выходило слово “жестящик”. Целый день я просидел как очумелый. Точно кто-то молотком забил в мои мозги: “Жестящик умер”.

Я долго перебирал в памяти мужиков из цеха. То одного представлю, то другого. Многие из них “крепко зашибали”, закладывали “за воротник”, да “квасили” почти каждый божий день. Все время под хмельком. “На подсосе” – как в цехе говорят. Их однажды разделили. Кого-то перевели в другой цех, часть – поувольняли.

С одним из них мы встретились в июне, во дворе городской больницы. Я лежал с бронхитом. А он пришел проведать больную жену. Поздоровался со мной “по ручке”. Подвыпивши чуть.

– Думал ты меня не признаешь. Я знаю, ты у нас навер-

ху работаешь. Ты не больно-то с нами якшался. Мы работы, дак. У тебя своя работа, у нас своя. Заболел, что ли? Третий месяц маюсь, лечусь и толку никакого. Как прилип этот бронхит, никак не проходит. А теперь лекарств в больнице никаких нет. Все на свои деньги приходится выкупать. Да по коммерческим ценам. А денег на работе не платят. Вон только за февраль дали. Не то что на лечение нет, жить-то не на что. Вот жизнь пошла! Хоть загибайся...

От такой длинной речи я аж закашлялся и едва остановился. Все нутро вывернуло. Аж до слез.

– Правильно ты говоришь, что хоть загибайся. У нас мужики многие кашляют. Это теперь “навечно”. Кругом отравы. Я вот сегодня опять маленько “отравился”, – посмеивается мужчина и щелкает себя по горлу. – Мы то хоть пьем да курим, а ты-то отчего болеешь?

– Да мало ли нервотрепки. Мне врач сказала, что это у меня от нервов. А они, говорят, не восстанавливаются.

– Да, обстановочка на заводе сейчас особо нервная. Кого сокращают, кого увольняют, а кому по собственному желанию предлагают уйти.

Рассказал, что его уволили. Обижается на начальство.

– Когда им хотелось выпить, к нему бежали: “Где-то у тебя, Михалыч, говорят, спиртшко оставался? “Дак он же подкрашенный. Сами же велели подкрасить, чтоб боялись пить-то”. “Ничего, и такой сойдет! Давай доставай”.

– Выходит, сами тоже не ангелы. А вот на мне решили отыграться. Жена слегла. А на что жить?

– На-ко вот бутылку кефиру! Жена не берет. А домой неохота тащить.

Я взял. Поблагодарил. Посидели на лавочке. Поговорили еще.

– Ты там в отделе-то не шибко разговорчивый. Постойшь, где мы курим, и опять в отдел. Так?

– Так! Тут належался за три месяца, намолчался вдо-

воль. Меня тоже разжаловали. Не надо стало. Перевели в конструкторы. Приковали к столу...

– Да, ШААЗ – это такой завод. Зайдешь утром – темно. Уходишь вечером – опять темно. Точно в тюрьме целый день. Правильно ты говоришь, что осталось приковать к столу или к станку, чтобы вкалывал только. А они как баре ходят. А нам и по территории не пройти. Живо “полицай” с красными повязками сцапают, если без “аусвайса” идешь. А-а, ну их на хрен... Не хочу вспоминать. Я теперь вольный казак. Куда хочу, туда иду. Ни у кого не спрашиваю. И не унываю. Рабы везде нужны. Кто будет начальство-то обрабатывать?...

...Перебираю дальше всех в уме и не могу представить – кто же все-таки этот жестянщик? Иду по коридору, на встречу Павел Павлович – испытатель отопителей. Дай, думаю, у него спрошу.

– Кто умер-то?

– Да такой высокий, худой был. Согнувшись ходил. Вот, выходит, совсем загнулся... И разводит руками, невесело растянув губы в улыбке.

– Это с бородой-то, что ли?

– Ну-ну. Он самый. Как у тебя борода.

– Старый он?

– Да нет. Всего 58. Еще даже не на пенсии. Рак горла у него, говорят...

– Страшно-то как...

– Вот такие дела, брат...

Решил узнать, как звали этого жестянщика. А то неудобно. Человек умер. Деньги собрали. А имени-то-отчества не знаю. “Жестянщик”, да “жестянщик”. Пошел в цех. Пусто. Одна только кладовщица пришла с обеда. Я к ней: “Как хоть звали жестянщика-то”. Отвечает: “Лемехов Иван. Болел месяца четыре. Потом его вывели на группу. Вроде вторую дали. Такой большой. Худой. С бородой. Да у него одна нога плохо шагала. Подтаскивал ее. А как выпь-

ет, она у него совсем не слушалась. Чуть ли не волоком таскал. Пить-то ему нельзя было. В груди тоже у него все болело...”

– Пал Палыч мне сказал, что у него рак горла был, – добавляю.

– Ну вот, видишь! Он весь какой-то еле живой был. Доходяга, одним словом. Вчера схоронили уже...

А отчества она тоже не знала. Все его жестянщиком звали. Я подхожу к старому рабочему. Тот посмотрел на меня поверх очков:

– Григорьевич, – отвечает.

– Спасибо, – говорю я и отправляюсь к себе на второй этаж.

Откуда-то вдруг во мне взялось смутное беспокойство. Вроде что-то похожее и со мной происходит! Нога тоже не подчиняется. И в груди болит. И фамилия тоже Лемехов. И бородатый.

Вспоминаю, что мой начальник КБ Вовин говорил тоже, что не знает, как ему с ногой быть. Онемела. Не чувствует ничего. И худо подчиняется. Едва ходит. Теперь, правда, отошло чуть. Полегче стало. Но совсем-то не проходит. Он сидит в отделе буквально в метре от меня. Слышу, все подкашливает. Целый день. Да и другой начальник КБ чуть подальше сидит (в 3-4 метрах), тоже все покашливает. Как будто они соревнуются между собой, кто кого перекашляет...

Теперь и я к этому дуэту присоединяюсь частенько. Не подумайте, что начальникам подпеваю. За два года работы в отделе уже раз 5 или 6 был на больничном. И все бронхит. Теперь уже хронический пишут. А справа рядом с моим столом стоит стол Гвоздина. Этот совсем редко показывается в отделе. Все на больничном. Мы с ним вместе в городской больнице лежали недавно. Он подряд четыре месяца проболел. Дали третью группу. Тоже из-за бронхита. И другие тоже не отстают. Часто болеют.

Невеселая картина вырисовывается. Дадут путевку в профилакторий. А там банки да ингаляцию назначат и лечись. А это – как мертвому припарка. Никакого толку. Лекарств нет.

Третий раз встречаю Павла Павловича, несет ведро с бензином. Воняет на весь коридор.

– Куда вы его? – спрашиваю.

– Как куда? Отопители гонять. (Он испытывает опытные образцы отопителей).

– За вредность Вам платят?

– Нет тут никакой вредности.

– А куда выхлопные газы деваются?

– Как куда – в вытяжную вентиляцию.

– Понятно. А теплый воздух не вреден?

– Нет, конечно. Ну что? Узнал отчество-то? Григорьевич он был. Иван-то.

– Да я уж узнал. Сходил вниз.

– А зачем тебе?

– Да вот – умер. Деньги собирали. Говорят - “жестянщик”. Лемехов. Сегодня узнал, что звали его Лемехов Иван Григорьевич. Оказывается мой однофамилец был. А я и не знал.

– Ты видел его? С бородой тоже! Худущий. Еле ноги таскал. Говорят, рак.

– Это говорят не болезнь, а Божье наказание нам за грехи наши... За несправедный и неправильный образ жизни...

(Что он, мол, курил, да пил). Помолчав, добавил грустно: “А про экологию не говорят ничего. Может это нас родной завод травит... У нас в последнее время четыре человека умерли. И у всех рак горла. Отчего бы это? Задумаешься... Никто до пенсии не доживает”.

– Да, тоскливо становится.

Мы расходимся по своим местам.

Так бы и забыл про жестянщика. Недавно, проболев ме-

сяц, меня выписали. Через несколько дней пошел в поликлинику. Опять что-то скис. Недомогаю. Спрашивают фамилию в регистратуре: “Лемехов” - отвечаю.

– Иван Григорьевич?

Меня аж всего передернуло – жутко стало.

– Нет. Его давно похоронили. А я Леонид Сергеевич.

Достала мою карточку.

А “жестянщика” спокойно отодвинула в сторонку... Она ему теперь не нужна будет больше...

Пришел я за получкой в отдел. Рассказываю, как лечусь. Что ничего не помогает. Слабость и мокрый.

Начальник КБ Вовин участливо рассказывает: “Так тут мы все с хроническим бронхитом. Отдохнешь на больничном с месячишко и опять вперед. Точно, до самой смерти. Вон к Валерьевичу обратись. Он все тебе расскажет. Что и как лечиться. Какую травку пить, какие лекарства принимать”.

Конструктор Саша спрашивает меня: “А ты курил раньше?”

– Да, – отвечаю.

– Ну вот, снова и начинай. Зря бросил. Утром как покуришь – хорошо продирает. Отплюешься и все нормально.

– Бегать, спортом надо заниматься, – советует начальник КБ Вовин. Как я. Каждое воскресенье на лыжи и никаких бронхитов.

И покашливает: “Кхе, кхе”. И улыбается.

50 ЛЕТ СТАЖА...

Утро. Идут рабочие ШААЗа, разговаривают. Пожилой, с глубокими морщинами и впалыми щеками рабочий объявляет торжественно- гордо своим товарищам: “У меня юбилей скоро. 50 лет рабочего стажу. Целых полвека тружусь”. Кто-то не верит: “Не загибай на холодно-то”. “Да какой резон мне врать-то?” А кто-то так ехидно-скептически: “Может, еще 50 лет от-

мантулишь, а дядя? Что тебе сделается, раз ты такой работающий? Видимо, ты из тех, из “закаленных комсомольцев?” Старый рабочий замолкает, опешив, и после некоторого замятательства тихо отвечает: “Да, проработаю”. Проговаривает слова будто про себя, произнесет и прислушивается к своему голосу. Как к чему-то потустороннему. А слова звучат из какой-то невероятной глубокой тьмы и дали, что становится не по себе! По спине пробегают мурашки.

Передернув плечами от весенней утренней свежести, ветеран будто отряхивает с себя холод и темноту далеких мыслей и продолжает: “Не верите, что у меня 50 лет стажу? А я говорю: да, пятьдесят! С десяти лет пошел работать-то, да и выглядел я не по годам – рослым. Раньше в колхозе рано начинали работать, не то что нынче. А сейчас все учатся, учатся.

А я в 10 лет уже плуг держал. А потом уж пошло и пошло. Все переробили. Особенно в войну. Как-то в уборочную хлеб возили на жеребцах. Мне нагрузили на подводу, видимо, много мешков-то, ну передок-то у телеги и раздавило – передние колеса лопнули. Что делать? Надо как-то дотянуть до деревни, что у самого города, а то не доехать до элеватора-то; да там по булыжникам-то на бывшей Ждановой улице и вовсе все колеса-то растрясет. Развалятся к чертовой матери”.

Тряхнул головой в такт последней фразе и ухмыльнулся про себя, опять вспоминая: “Доехал я кое-как до деревни. Побежал в кузницу. Ночью прибегает ко мне техничка. “Айда, говорит, – поезжай, колеса твои готовы”. А времени два часа ночи. Что делать? Встаю, надо запрягать... Война ведь идет... Не считались ни с чем...”

Ветеран долго молчал, потом с жаром заговорил вновь: “А сейчас мы разве робим? Да так, болтаемся ходим. Одно название – работа. А вот бы мешки-то поворочал, сказал бы: “Ох, и поработал сегодня, аж все кости болят”. А теперь бы как-то до пенсии дотянуть...”

РАССКАЗЫ

ГОЛОСА...

В автобус едва-едва поднялись две старушки и сели порознь – одна на левую сторону, другая – на правую, продолжая ворчать и сердито спорить друг с другом:

– А ты и в колхозе не больно изробилась, все легкой работы искала. Подмазывалась к начальству-то. Не зря видно тебя на заправку-то устроили...

– А ты и вовсе нигде не робила. Все только и торговала ездила на базар. Только этим и наживалась.

– Так я ведь не воровала, как некоторые. Присосались к государственной титьке и доят и доят. Да еще у соседней успевают прихватить, что плохо лежит. Я-то ведь все своими руками вспахивала, не в пример тебе...

– А ты над своим мужиком вон че изгалялась, заездила его совсем, свела в могилу.

– Че тебе завидно стало? Вот ты и разъезжала по курортам-то с начальством-то... Развлекалась. И квартиру-ту по блату получила.

– А тебя это не касается. Сама попробуй заработай. А я заработала. Неважно как. Кто успел, тот и съел.

– Успела прихватизировала и гоношишься. Людям жить негде, а ты свой дом имеешь да еще государственную захапала.

– А твое какое дело. Ты так научись жить. Ты вон почему мусор к моему огороду осенью-то вывалила?

– А ты почему мою солому к себе таскала?

– Да я наоборот, отгребала от своего-то огорода, а тебе вовсе другое поблазнило.

– Видела, видела, на месте застала дак и стыдно стало. Вот и отпираешься, придумываешь че попало. Привыкли переть-то все... На дармовщину-то.

– Бабушки! Ну че вас взяло-то? Че вы не поделили-то?

Ведь уже старехоньки, умирать поди собираетесь, а все как собаки лааетесь да грызетесь. Побойтесь бога! Поберегите души-то! Вот хватит вас трясучка котору-нибудь!

Это дородная краснощекая, средних лет женщина возмутилась в автобусе. Не выдержала, поднялась на старух. Они приутихли вроде. Продолжая про себя ругаться, неслышно шевеля иссохшими губами.

А полная женщина продолжала: “Я вот в прошлый четверг была в районной больнице, так насмотрелась там. Вот вторую неделю маюсь с ногой-то. Все еще на больничном. Опять еду к хирургу”, – обращалась она к соседке по автобусу и намеренно рассказывала погромче, чтобы и всем остальным было слышно:

– Вот это мы сидим у дверей, а народу к хирургу, как всегда – тьма, сесть некуда. Одна женщина толстущая, раза в два толще меня, стояла, стояла, не вытерпела видно. Только вышел от врача больной – она и решила зайти. А у дверей-то сидел мужчина пожилой. Ему надо было заходить-то. Он на бабу-то и поднялся, и не пускает ее: “Ты, – говорит, – корова, куда прешь? Разжиреют, – говорит, – и лезут без очереди, больные нашлись. Я вот инвалид, да сижу, жду”.

Тут с женщиной-то и вовсе плохо стало. Затрясло ее. Воздуху не стало хватать. Еле затащили ее в кабинет-то. Я сама-та напугалась сильно.

А мужик тот все ворчит: “Ты поди тоже екая, трясучая? Тоже вон сколь жирна дак”.

– Нет, – говорю, – я не екая. Я подожду. А у самой руки-ноги дрожат. Нога больная ноет, спасу нет. Пока я тут суетилась, да помогала больной-то, на мое-то место уж сели. Вот, бабушки, не ругайтесь, а то котору-нибудь тоже трясучка схватит.

– Не схватит, – отвечает одна, сухонькая, что торговать ехала зеленым луком. – Не больно мы жиру-то накопили. Все в земле да в земле. Неоткудова ему завестися-то...

Ссора бабушек и рассказ женщины расшевелили воображение пассажиров. Они негромко разговорились.

– Знаешь, девка, что правда, то правда. Мы вот в войну-то еще подростками были, а и за мужиков и за себя мешки-то ворочали...

– Да, одну работу только знали. Да еще дома надо было пластаться со своим хозяйством. Корова, поросенок, овечки. Да огород. Без них бы никак ребятишек-то не поднять. Не выжить бы.

– А сейчас разве лучше? То же самое стало. Без хозяйства никуда.

– Счас хоть торговать разрешили. И налогов меньше.

– Да, счас все в спекуляцию кинулись. Никто работать-то не стал. Все рушится, все валится. Совхоз вон скоро закроют, наверное.

– Не закроют. Начальство-то останется. Куда их девать-то. Будут придолжности, при зарплате и забот никаких.

– Это верно. Эти-то счас живут лучше других. Кто пристроился на “доходном месте”, да у власти, при должности. Мне вон нынче надо было огорода добавить, чтобы посадить побольше. Чтоб с голоду не умереть. Сельсоветские отказали мне: “Нету, – говорят, – земли”. А сами все расхапали да дачникам вон продают. А для своих сельчан – нету. Обнаглели совсем. А тут бьешься, бьешься, и толку нет. А кто на “доходном-то месте” сидит – те вовсе колпака не ломают. Им всего сырым-вареным прут, дак. Все разворовывается, да и по блату продается. Хоть и государственное. Счас им, видно, все можно.

– А чем они лучше? Тем, что вкалывать не хотят. Видно они раньше нас поняли, что своим-то горбом палат каменных не наживешь. Вот и обнаглели, сволочи, – подговорился к женщинам мужик с дубленным лицом и резко выделяющимися скулами, под которыми ходили упругие желваки. – Дурили они нас, суки, все это время. Крепко дурили. Погоняли как стадо. Давай, давай, поднажмите,

мол. Потом лучше будет... При коммунизме-то... Не вам, дак вашим детям.

– Ну и кому стало лучше? При капитализме-то? А все тем же. Вот этим жирным да наглым. Слава Богу, хоть нам не дали разжиреть-то. А то бы счас маялись по больницам-то.

– Значит, на пользу пошло что ли? Что, на голодном пайке жили? Что крапивой да отрубями питались? Да беспросветно робили в колхозе за пустые трудодни-палочки. Спасибо “отцу родному”, что приучил нас к тяжелой работе, да начальству всякому. А то бы разленились дак счас-то как бы выжили?

– Да-а-а, – протянул сухощавый мужик.

– Слава товарищу Сталину! А вот нынешнюю-то молодежь кто приучит к работе? Все больно самостоятельные стали. Не укажи. Хоть и сопли еще не вытерты. А мы не выпендривались. Раз надо Родине – “дадим стране угля, – как говаривали раньше, – хоть мелкого, но... много”, – и мужик хитровато ухмыльнулся. – Побаивались тогда... Зато порядок был, а не бардак. И никакого тебе застою. Одни стахановские рекорды!

– Да про рекорды-то бы лучше помолчать. Они все больше на бумаге были. И почитали все больше одних и тех же. Как прилипнет слава-то к кому-нибудь, не оторвешь...

– Да-а-а, – протянул скуластый мужик. Пов... повкалывали, бывало. Ни дня, ни ночи не знали. За труд-то если почитать, дак вон лошади надо грамоту-то выдавать. Она всю жизнь горбатится, да везет. К тому же молчит. И не вякает... Как некоторые тут...

– Эти толстозадые-то “пешки” шибко злопамятны. Готовы тебя с г... съесть, если что не по ним. А как капризно искривят губки или подожмут их в ниточку. Мать родную не пожалеют...

– Когда у человека за душой пустота, то единственное, что может помочь отыграться за все обиды и унижения

при отсутствии ума и денег, да храбрости – это занять властную должность и особенно при доходном месте.

Хоть какая-нибудь, пусть крошечная власть. Но власть над себе подобными. И тогда успех, достаток и уважение... Все будет. Особенно в дефицитные времена, когда всего на всех не хватает... То хлеба, то денег...

ЧЬЯ-ТО ДУША...

Я почему-то больше люблю природу, чем завод. На работе мне приходится сталкиваться с неодушевленными предметами. Будь то металл, бумага или люди. В природе же все движется, все интересно, все живое – деревья и цветы покачиваются, словно разговаривают между собой. Листочки шепчутся о самом сокровенном. А люди больше молчат...

В нашем отделе осенью бабочка появилась. Прихожу на работу, а бабочка все там же сидит – на оконной перекладине и поглядывает на улицу. Окна у нас большие – чуть ли не во всю стену – от потолка до пола, чтоб конструкторам чертить светлее было. Как выглянет из-за туч красное солнышко, бабочка заволнуется, начнет биться о стекло, за которым уж и не такой прекрасный пейзаж, а все-таки воля.

Панорама города словно вливается в наши огромные окна – порой покажется, что отдел словно бабочка парит над городским пейзажем с его серыми пятиэтажками – «хрущобами», а возле самого завода – зелено-грязными двухэтажными домами, густо обсаженными кленами да затянутые гаражным поясом.

Смотрит бабочка из окна на этот урбанистический пейзаж с беседкой выкрашенной суриком, в которой почему-то никто и никогда не сидит – ни днем, ни вечером – ни мал, ни стар. Эта беседка стоит между зелеными домиками, т. е. ничья – ни тех, ни этих. По улице Октябрьской пылят, пыхтят автомобили.

Посидит, посидит бабочка без движения, посмотрит на безжизненные одинаковые окна пятиэтажек, на телеантенны, густо ошестинившиеся на крыше, на летающих голубей, на грачей собирающихся в стаи. Долго сидит бабочка без движения. Не умерла ли? А может задремала?

Небо все сплошь затянуто серой равнодушной облачностью. Поэтому темновато и тянет в сон. Ветви кленов за окном еле-еле колышутся. Но выглянет солнышко и начнет пригревать, тут и оживет бабочка. Забеспокоится, начнет перелетать снова от окна к окну, за которым шуршит в листве ветерок, срывая пожелтевшие листочки. Уносит их стайками и поодиночке, словно перелетают через дорожку у самых колес автомобиля яркие птички. И бабочке, видимо, хочется полететь за ними. Или, слившись оранжевым крылышками с пожелтевшими прядями кленов, слушать негромкое позванивание золотистых листочков. Но не может преодолеть она застекленной преграды. И форточка закрыта. И люди почему-то равнодушны к ее стремлениям. Они сидят, у каждого свой стул, уткнулись в бумаги. То ли дремлют, то ли работают. Заняты очень серьезными делами. Недосуг им отвлекаться.

А бабочка летает, мечется...

Скоро уж холода наступят – на дворе октябрь. Бывает и «белые мухи» пролетают. Но она все ровно рвется на волю.

Прошел день. Прошла ночь. Люди снова пришли на работу. Уселись на свои стулья, уткнулись в свои чертежи. Я тоже разложил чистые листы. Смотрю – летит ко мне бабочка и, покружившись, садится на белый чертежный лист. И легонько так то закроет крылышки, то откроет. От их огненного жара у меня дух перехватило. Сижу, боюсь дышать. Но не смог долго выдержать, пошевелился все таки. И бабочка улетела. Минуты через две-три – смотрю – снова летит ко мне. Я замер. Она опять покружилась раздумывая: то ли ей на бумагу присесть, то ли на кончик

карандаша, который держу в руке. Но что-то ее удержало от этого решения. Она, видимо, другое придумала. Села мне прямо на лоб. Больше она не прилетела ни разу за весь рабочий день. Долго я сидел под этим впечатлением. Что это за знак такой божественный был? А может это Бог послал ее... Когда она в первый раз прилетела и села на белый лист, это было как озарение. Мир стал ярче, красивее и светлее. «Любуйся, созерцай взволнованно и замирай перед чудом космического создания». Второй раз она хотела сесть на кончик карандаша – тут было ясно одно: «Успей запомнить и сотворить не менее прекрасную картину, чем сама жизнь».

Ну, а когда бабочка примостилась прямо на лоб – в этом, видимо, самый волшебный знак. ЭТО БОГ – ТВОРЕЦ прикоснулся, благословил на добрые дела и мысли: «Обдумай и сотвори красоту земную по образу и подобию небесной!». Вот такие мысли еще долго не покидали меня. Мне остается только поблагодарить Всевышнего за его столь чуткое ко мне внимание.

– Слава тебе, Господи!

Словно проснувшись, одна чертежница-пенсионерка увидела бабочку на окне и стала ее ловить. Еле поймала. И выкинула в открытую форточку. После чего как-то брезгливо отряхнула ладони и вытерла их.

А через час на том же месте опять билась о стекло другая, а может прежняя, бабочка...

А может чья-то душа...

ОДНОКАШНИКИ

Очень часто встречаю в нашем городе Юру Динера, с которым вместе в автомехе учились. Я обитал тогда в общежитии, а он был городской, но частенько отирался у нас в общаге, особенно по праздникам, когда в актовом зале техникума были танцы, которые потом продолжались

в коридоре общежития. Он часто приносил новые зарубежные песни, записанные на рентгеновских пленках с просвечивающими на них ребрах. Эти джазовые мелодии очень уж будоражили наши неокрепшие шестнадцатилетние души. Это были шестидесятые годы прошлого двадцатого века. Всякая иностранщина – и музыка, и одежда – были в моде.

Юра был очень общительным, приветливым. Всегда здоровался за руку: “Держи краба!”, – говорил твердо и улыбался, затевал что-то рассказывать про современную музыку. Он учился в музыкальной школе. До сих пор, то есть до пенсионного возраста он остался все таким же жизнерадостным. При частых встречах, увидев издали, восклицал, потрясал мою руку: “Ну, что, Леха, как житуха? Нормально? У меня тоже нормально. Давай встретимся! Хоть бы Петя из Челябинска приехал. Вот бы попили водочки за его счет! Он начальником цеха работает. Бывает часто в командировках. Прошлым летом мы в гостинице у него “гудели”. Пригласили “Устю”, но тот как комар пьет – с первой бутылки валится. Ха-ха...”.

Я недавно встретил в городе еще одного нашего однокашника – Борю. Его сейчас навеличивают “президентом”, так как он тоже Борис Николаевич.

– Привет, президент! – улыбаясь, здороваюсь с Борисом.

Он ухмыляется, довольный. Говорю ему, что Юрку видел, что горит желанием встретиться и попить водочки. Борис Николаевич с иронией и досадой отвечает: “Во, ботало! Придумали с Петей звонить мне в двенадцатом часу ночи. Приглашают в гостиницу “Урал” попить, а сами уже лыко не вяжут. А мне завтра к восьми на работу, на завод. Я сейчас на ШААЗе мастерю” (Работает мастером в цехе).

Боря работал конструктором на “телефонке”, а когда она развалилась, перешел на ШААЗ мастером в цех, чтоб до

пенсии дотянуть. Последний год пошел. Все отдыхать пора...

Борис продолжает рассказывать: “Нет, чтобы пораньше позвать, так они ночью выдумали звонить, чтобы я пришел к ним. С ними еще “Устя” был, но кого, тот как цыпленок пьет. Толку-то от него...Ладно, побежал я”, – торопится Борис Николаевич, нагруженный хозяйственными сумками и пакетами. Самый длинный баскетболист был в нашей шестьдесят шестой группе. Под два метра ростом. Тоже с ним вместе были в Комсомольске-на-Амуре после техникума. Отрабатывать раньше заставляли. Только он на другом заводе был.

Витя “Устя” в тот раз, когда приезжал Петя, и меня приглашал в гостиницу, встретив в городе случайно. Но я очень спешил на последний рейс своего автобуса в д. Полевую. А на завтра были лекции в институте. Так и расстались, ни о чем не поговорив.

Сколько бы раз не встречались с однокашниками в городе, все некогда остановиться, пообщаться... Перебросимся порой парой фраз: “Как жизнь? Где работаешь?”. И все. Разбегались в разные стороны. Так и ни разу не пригласив друг друга в гости... Лишь Петя из Челябинска иногда попытается собрать несколько однокашников вместе, чтобы попить водочки...

Вот и сегодня, встретившись с Юрой, стоим посреди тротуара, на самом людном пяточке – возле гастронома “Чайка”, что в центре нашего города. Порадуемся встрече, улыбаемся солнечному летнему дню. Я уже свободный, второй день в отпуске. Все еще продолжаю работать после пенсии.

– Леха, ты все там же? В институте? Слыхал – новую выставку картин в музее сделал. Слушай, у меня есть племянник. Рисует – я тебе дам. Клево. Надо его к вам пропихнуть. Я направлю его к тебе. Посмотри его. Хорошо?

– Пусть приходит. Дам задание. Проверю, – не торопясь отвечаю я.

Юра опять заводится: “У-у... одаренный! Ты бы знал! От Бога! Вот увидишь сам. Надо его взять. Не пожалеешь. Только вот какая штука – он аттестат потерял. Нигде не может найти. Я уж базарил с вашей бабой, как ее, с деканшей. Я ей уже и меду приносил... Она никак без аттестата не берет. Вон Пуговкина – известного артиста кино – взяли аж с тремя классами. Не посмотрели на образование. Лишь бы талант был...

– Мне тут не помочь тебе. Я простой преподаватель. Юра, да у тебя же мед в руках. Не мне тебя учить!

– Слушай, Леха! Давай я тебя угощу. Пошли, а? Водку-то пьешь? Нет?

– Моторчик барахлит, – и показываю на сердце.

– А я еще ничего, принимаю. Второй год как на пенсии. Хорошо себя чувствовать свободным! Красота! Я все еще читаю без очков. И волос у меня смотри какой черный! Ты так делай, Леха! Такое упражнение. Поворачивай голову налево, а потом направо, как бы за билетом в автобусе тянешься. – И показывается. – А для глаз делай такой массаж – раз по сто утром и вечером надавливай на глаза, массируй.

– Ты же мед ешь, да какую-то пыльцу еще в гранулах продаешь, – пытаюсь вставить несколько слов в его монолог.

– Хочешь я тебе продам этой пыльцы. Женилка сразу заработает, – и улыбается во весь рот Юра, – нет, Леха, я тебе так дам! Только ты мне хорошую картину нарисуй! Понял? Договорились, а? Давай, пошли, тут рядом кафе есть.

При этом Юрий не перестает здороваться с проходящими. То кивком головы, то с поклоном, а то и за руку. Видимо, ему чуть не все шадринцы знакомы.

Вспомнил, что недавно к нам на худграф приходил наш бывший по техникуму преподаватель. Хотел устроить свою внучку.

– Помнишь, Юра, Владислава Михайловича Тимофеева? – и рассказываю Юрию о недавней встрече с ним.

– Это по сопромату что ли? – и смеется. – Мы тогда на экзамене ему в графин какой-то порошок подсыпали. Он спал на экзамене, а мы в это время успевали списывать со шпор. Потом это дошло до начальства. И нам чуть не засчитали этот экзамен. Не знаю – как бы мы передать его стали. Тот раз у нас девахи из группы отличились. Было у нас четыре Тамары – Томка “Ломиха” (Ломова), Томка Сорокина (дочка начальника милиции), Томка Сугорских – эти все трое городские были; да Тамарка Вострухина. Отчаянные девки, правда?

– Да, помню. Они-то и сотворили с Владиславом Михайловичем эту экзекуцию. Надо же было как-то сдавать этот самый трудный экзамен по сопромату. Он сейчас в Курганском университете преподает. Все тот же трудный сопромат. Кандидат наук. Доцент, – информирую Юру. – Он бывал у нас в художественной школе, когда я еще там работал. Заходил к другу-охотнику.

В кафе Юра встает в очередь, а я сижу за столиком. Он приносит две рюмочки. В одной всего полрюмки, вторая – полная. Я разлил это поровну. Выпили. Встали и пошли.

– Ну, Леха, пока. Я спешу. Позвоню, как-нибудь.

Жмет мою руку. Угостил называется... И поговорили...

НА УВАЛАХ

Субботный день начался солнечным. С превеликим трудом выбрался я из автобуса – всегда много с утра едет людей на барахолку. Вылез, вдохнул свежего воздуха и зашагал по проселочной дороге. С диким ревом, на пределе, оглушая, пролетели мимо мотоциклисты-анархисты. Сзади на каждом мотоцикле сидела девчонка с развевающимися на ветру волосами. Рассеялся дым, затих режущий перепонки звук, лишь виднеются вдалеке раз-

ноцветными точками, все уменьшаясь, фигуры ребят и девчонок.

Снова душа успокаивается при виде покосившихся стогов соломы, что светятся на солнце яркой желтизной, выделяясь на фоне вороной свежевспаханной пашни. Дорога вьется возле поля, увлекает и зовет в трепетную охваченную золотым пламенем, даль Увалов.

Оглянешься назад – город будто растаял в бирюзово-серой дымке. Лишь редкие пятиэтажки отмечают улицы пунктиром освещенных белых крыш да темно-зеленых шапок тополей.

Все ближе и краше становится осеннее кружево из оливковых, блекло-зеленоватых, нежно-желтых и пышно-золотистых берез. Среди них напряженно-кровоно горят кусты боярышника да амфитеатром разбежались огненно-красные осинки.

С горы зрелище еще величавее. Раскинулась такая торжественно-нарядная красота и ширь, что дух захватывает. Вот она, воля и благодать...

Вдоволь налюбовавшись, выбираю понравившийся мотив и раскрываю этюдник. Не заметил, забылся, увлекся, как оказался в окружении ребят и девчонок. Смотрят на мою работу и спрашивают: «Дядя, а какое это ты место рисуешь?» Я молчу. Работаю.

– Вон тот красный куст, по-моему. Не видите, что ли? – не выдержала бледнолицая девчонка с большими грустными глазами.

– Красиво, правда? – ищет она поддержки у подружек.

Остальные кривят физиономии,жимают плечами. Парни ухмыляются.

– Эх вы, ценители! – поднялся на них парень с хитроватым прищуром глаз. – Я тоже так. Начну рисовать, соберутся вокруг и пыхтят под ухо. – А это что тут намазано? – он чуть не ткнул пальцем в краски на холсте, успев при этом с усмешкой подмигнуть ребятам. – Я думаю, что

тебе, дядя, за это двойку поставят!

Кое-кто из ребят захихикал. Почувствовав поддержку, парень еще более нахально заломался:

– Я тебе как коллега коллеге советую – брось-ка ты, дядя, эту мазню! Кому она теперь нужна? Сейчас время – деньги. Бизнесом надо заниматься. Или, как мы вот, весело время проводить, понял?

Он взял с этюдника кисточку и, обмакнув в черную краску, попытался дотронуться до этюда:

– Я тебе, дядя, сейчас поправлю малость. Ты тут неправильно рисуешь.

– Ну, ты!!! Парень!!! – вскипел я.

Гоготанье и кривлянье сытых и ухоженных парней с гладко постриженными затылками заставило меня сжаться и принять внутреннюю оборону. Думаю: «Будь, что будет, но не сдамся соплякам». Я выступил с кисточкой вперед:

– А ну, давай-ка, дуй отсюда, а то я сейчас тебе усы нарисую!

Парень отшатнулся, опешил. Он не ожидал от меня такой прыти, считая себя хозяином положения.

– Ну, все, все. Я пошутил.

А сам подмигивает ребятам. Но его уже не так дружно поддержали. Я понял, что это еще школьники, хотя и довольно рослые. У кого-то проснулись, видимо, трезвые струны души, не совсем затуманенные алкоголем.

– А Вас жена не ругает за это? – беря тюбик с краской, спросила одна пухленькая девчушка.

– За что? – не понял я.

– За то, что Вы рисуете. Измажете одежду, да и деньги на краску потратите. Много же надо красок! Вон Вы их как жирно мажете.

– Искусство требует жертв, – опять вмешался шустрый «коллега».

– А ну-ка, ребятаки, поиграйте где-нибудь в другом мес-

те, – едва сдерживаясь, попросил я, чувствуя, что в таком окружении мне работу не закончить.

Неторопливо, чтобы не выдать своего отступления, стал я вытирать кисти и складывать этюдник. Ребята поняли, что все интересное позади, тоже стали тянуть друг друга к своему становищу.

Они, видимо, интуитивно выбрали этот же бугор, что и я, откуда открывался дивный вид на шадринские Увалы. Только увидел ли кто-то из них эту красоту?

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ СТРАННОСТИ

– А что же, друг мой, хотите получить бессмертие даром? Забавно! Много ли вы в своей жизни получали даром? Очередь в кооператив получить – и то весь в грязи изваляешься... А тут все-таки бессмертие!

– Даром я ничего не получал, это верно. Но и в грязи никогда не валялся...

– Ой ли?

– Да уж заднее место никому не лизал, как некоторые! Я работал! Работал и зарабатывал!

– Ну вот и поработайте еще разок...

А. Стругацкий

Б. Стругацкий

(“Пять ложек эликсира”)

Загадал как-то в последние минуты перед Новым годом Малешков свое самое заветное желание – аж признаваться самому себе страшно. А вдруг все это же загадали? Где же наберешься на всех этого, когда этого на всех не хватает. Когда это дают только избранным, да по великому благу, а остальным строго по очереди... Хотя до двухтысячного года всем наобещали...

Работал Малешков в одном государственном заведении, которое считалось очагом культуры, где ему пришлось иметь дело с детишками, то есть учить их и воспитывать соответственно духу времени. За длительный

период своей честной работы Малешкова неоднократно не замечали – ни поощрений, ни наград, ни привилегий руководство не выказывало, в отличие от других сотрудников, приближенных к администрации, коих за прогулы и за появление на работе “под мухой” или попадания в вытрезвитель награждало грамотами, ценными подарками, вывешивали их фотографии или пропечатывали в газете, а то и выдвигали на руководящие должности или отправляли на курорт. При этом начальство и себя отметить не забывало. “Может им сверху виднее”, – размышлял Малешков и продолжал усердно работать и таить надежды на лучшее...

...Счастье свалилось неожиданно. Раз позвонили из верховного заведения культуры и предложили Малешкову написать заявление на кооперативную квартиру.

А Малешков в то время один из всех его коллег имел собственное жилье – третью часть старого домика – комнатушку в шестнадцать квадратных метров на троих. Сослуживцы еще посмеивались над ним: “Ну и халупа у тебя, Георгий Андреевич. Только на полусогнутых у тебя по ней и передвигаться, а то забудешься и об матку лоб расшибешь”.

– Да, – говорил Малешков. – Дел хватает: и печку топить надо, и дрова заготавливать – пилить да колотить, и воду носить, и все удобства во дворе...

За все это Малешков считался частником, то есть домовладельцем. И неважно, что могло когда-нибудь придавить в своей хибаре, или то, что замерзнешь зимой. Так как старые гнилые бревна не держат тепло, а весенние воды затапливают его храмину почти ежегодно. И Малешков часто болел, а это начальству не всегда нравилось.

Так тянулись дни за днями, любимая работа полностью поглощала его.

В заведении, где трудился Малешков, у всех жилье было

с благами, которые государство как бы подарило ни за что его сослуживцам.

А вот нынешнее высокопоставленное руководство почему-то по другому заявляет: “Сегодня некоторые граждане, живущие пока в полуподвале, что безусловно плохо, приезжают в исполком на дорогостоящий автомашине и говорят: “Вы, товарищ председатель, обязаны обеспечить нас квартирой!”, забывая при этом, что должно это произойти при их непосредственном участии”.

“А что они противозаконное сказали? Себя-то вы небось обеспечили, думал Малешков. – Да и не только себя... Хотя бы взять его коллег. У них и квартиры государственные есть и машины покупают, и гаражи с дачами строят. Неужели, если честно работать, то никогда ничего не получишь?”

Вот тут Малешкова всегда брали сомнения: “Так за что же государство благоволило к его коллегам? А может также вот в одно прекрасное время на них свалилась гора счастья, как теперь на него...?”

Написал Малешков заявление, отнес в отдел. Ждет день, другой... Месяц прошел. Нет никаких известий. “Неужто поблазнило?”, – думает он. Пошел узнавать. Оказалось, что квартиру уже дали кому-то другому.

– Как так? – изумился Малешков, стоял, будто оплеванный, и ничего не понимал.

– А вот так. Думаете вы один нуждаетесь? – ответили ему.

– А зачем тогда поманили?

– Ну, так получилось.

И так грустно, грустно сделалось у Малешкова на душе. Поделится он печалью с коллегами, но никто не внял его безмерной беде; у них свои заботы-то, гараж надо построить, то запчасти где-то достать, то на даче дел невпроворот. А директриса – Блошистова Серафима Глаголевна: “Нечего было ушами хлопать. Квартиру получает то,

кто быстрее собрал все справки; надо умно делать”.

– Да разве это умно? Это наглость называется, – не соглашался Малешков.

Померкли дни, потянулись бессонные ночи. Жизнь куда-то стала испаряться из тела Малешкова... Не один год пребывал в великой депрессии, почти в полубморочном состоянии...

Постепенно работа с детьми отвлекла его от тяжелых раздумий, выпрямила. Обязанности свои он выполнял исправно, да так, что и никто из коллег не мог такими успехами похвалиться. Его ученики занимали призовые места в области – одному мальчику подарили фотоаппарат, другого послали в пионерский лагерь “Артек”. А пять человек из выпускников расписали две стенки в детском саду на сказочные темы; и за просто так. Это было в те застойные времена, когда энтузиазм был еще в моде и считался благим порывом. А работы одного ученика были выбраны для отправки в Москву. “Ради этих счастливых минут стоило отдавать детям все свои знания и душу”, – считал Малешков.

А время текло, уплывало сквозь пальцы, как вода. Случилось это на одной из пирушек-попоек, коими так увлекались культурные люди из культурного заведения. То ли на конец четверти, то ли на начало, то ли на конец полугодия, то ли на пасху, то ли на советский праздник, какой – всего не упомнишь – то ли на день рождения кого из коллег. Признался подвыпивший завуч и он же профгруппорг – организатор этих славных, почти невинных, если не считать бесконечных ссор и драк, мероприятий, Гребунов Никодим Владленович, что в скором времени получает он кооперативную 3-х комнатную квартиру: “По секрету еще скажу, что стою в очереди на государственную. Пока в этой поживу, а там очередь подойдет, я эту продам. Понял, как надо жить! Ты, тюха-матюха! Давай поменяемся – ты, Гоша, мне свою халупу, а я тебе свою

старую. Я твою продам и расплачусь и за машину, и за кооператив. Ну? Что молчишь, надуваешься?”.

– Пошел ты! Знаешь куда?...Гнида вонючая! – возмутился Малешков. – Из-за вас, кровососов, и людям ничего не достается. Все захапали, сволочи!

С тех пор он перестал разговаривать с Гребуновым. Вскоре и правда счастливым оказался Гребунов Н. В. А может первым в культурном очаге подлецом и мерзавцем.

Решил Малешков проверить это. Задумал сходить вначале к профсоюзной голове своего отдела – к Подпяткиной. Она ответила: “Я не в курсе, меня никто не информировал. Но скажу вам по секрету, что эту квартиру получила жена Гребунова Н.В., так как она в этом же заведении работает. У Гребуновой А.С. блат был в отделе”.

– Ну вот начинает прорисовываться.

Пошел он дальше и выше. А там, в отделе, начальницы никак не задерживались – каждый год новая. Объяснил ей Малешков, она в ответ: “Я тогда не работала, я квартирами не распоряжаюсь”.

– А где же мое заявление? – наступает Малешков.

– Что вы ко мне пристали... И вообще, Вы не с того хода начинаете.

– А кто получил кооперативную квартиру в таком-то году? – не унимается проситель.

– Сейчас узнаю. – Звонит по телефону: “Гребунова А.С.? Ну, хорошо, спасибо”. Ту, что предназначалась вашему заведению, вы же и получили. То есть Гребунов с женой, только квартира на Гребуновой записана.

Делать нечего, поплелся Малешков восвояси. Опять пролетело немало времечка. Не хочется отпускать из виду птицу счастья, коя поманила сказочным крылом. Что делать?

И пошел Малешков обивать пороги высокопоставленных да ожидать томительно-длинные очереди. Вначале

надо записаться на очередь, потом прийти и ожидать приема. И везде надо ждать, ждать... Годы уходят на это, чтоб дожидаться, выслушать. Опять идти, идти, идти...

Скоро только сказка сказывается, да нескоро дело делается.

Наконец, предстал он перед женщиной, словно отлитой из драгоценного металла – вся блестит и лоснится. Со значком депутата на округлой форме. Выслушала между делом, копаясь в бумагах, и четко-чеканно сформулировала ответ: “Надо было сразу добиваться, когда разрешили написать заявление. Сейчас надо снова писать заявление, но на кооперативную только, на государственную нет никаких надежд”.

Внешне эффектно, деловито, как с трибуны, но без тени участия в стальном безразличном взгляде.

– Вам все ясно?

Не успел Малешков раскрыть рот, как его уже выпроваживали из кабинета: “Можете быть свободны. До свидания”.

Вот тебе и депутат – слуга народа...

Где же выход?

Работает опять Малешков не покладая рук, уже и мечтать разучился. Время неустойчивое наступило. Правители один за другим умирают. Народ до горького зелья дорвался – будто в агонии какой беснуется, разлагается, предчувствуя недоброе...

Дело до того дошло, что в культурном заведении чуть не с утра дым коромыслом стоит. Это Гребунов угощает всех, сам уже багровый – руки загребущие в разные стороны растопырил – в одной бутылка, в другой – стакан. На круг выплывает словно пава, а вон и музыка появилась – старый списанный баян засипел в руках Гвоздина, затальянил.

Малешкову не до веселья, отказывается участвовать –

тоска черная, непроглядная сдавила душу – точно кто-то тяжелый грязной галошей наступил на сердце. Ничего не может он понять: “Тот, кто пьянствует, веселится во время рабочего времени, да прогуливает – тот и в передовиках ходит, им и путевки в санатории, чтоб желудок бесперебойно работал, им и квартиры и почести разные – где черное, где белое – все перемешалось, все слиплось в круговерти в одну серую массу, все вверх тормашками летит, люди с ног на голову становятся – цирк да и только... Да только не смешно почему-то...”

– Давай, Гоша, – это Гребунов подходит к Малешкову. Выпей с нами, не побрезгуй. И чего ты все нос воротишь? Зазнаешься, что имя твое в газетах промелькнуло? Меня тоже недавно пропечатали, – Гребунов достает из внутреннего кармана вырезку из газеты. На, почитай! Нет, выпей сначала. Да ума не пропивай, понял? Против коллектива не попрешь. Надо вписываться. Не отрывайся от масс. Выпей еще на дорожку, веселей будет жить-то и топтать в свою Крутишечку или Ольховочку, запоматовал – как у тебя деревня-то называется?

Малешков не отвечает.

Вскоре звонок прозвенел, отпустил Малешков детей и отправился в свою деревню, что в восьми километрах от города, в которую он недавно переехал.

А Гребунов остался веселиться с коллегами до полуночи. Видимо, за это его и избрали профорганизатором, что уж очень он любит с шапкой по кругу ходить и рублики собирать, а затем на своих длинных ходулях чуть не бегом в гастроном нестись за горючкой, пока не закрыли. Он недавно переехал в новую трехкомнатную квартиру, так что на седьмом небе теперь. Даже не хмурит его недавняя неудача – ничего не получилось у него с директорством. Во хмелю пробыл на этом посту два года, но коллеги его так и не признали почему-то. И он решил действовать по-другому. Отдать это хлопотное дело одной

пустой бабенке из отдела – Блошистовой Серафиме Глаголевне. Хоть и отрекомендовала ее одна из вышестоящих, что это женщина властная, хоть и “без царя в голове”.

– Ничего, – говорит Лисицкий Афонасий Кондратьевич. – Пусть глупая, пусть дура, нам это даже лучше – легче будет обломать ее, будет делать все как нам надо.

А сам про себя думает: “Как мне надо будет, как я захочу”. А то пришлют кого поершистей – прижмет и не пикнешь.

С годик Блошистова помалкивала, присматривалась. Потом начала покрикивать, пятнами красными покрываться, если что не по ней. Это коллективу не понравилось – сделали ей замечание. Фыркнула, но съела. Потом опять за свое. Даже на самого Лисицкого поднялась – на ветерана и старожила, на “отца народов” культурного заведения.

Но он дал ей понять - кто она и кто он. В общем поставили на место, чтоб не зарывалась. Он с самим мужем верховной власти в райгороде на брудершафт, так как у них дачи рядом... И с милицией “повязан”... Не зря несколько раз в “выпрямителе” бывал и никто ничего не знает. И это еще не все – он в правлении состоит... в росглавначпу-пе..., то-то...

Это она вскоре дотумкала и перестала на него возникать, в чем бы он не провинился. Наоборот, старалась в каждом удобном случае подсюсюкнуть: “Как Вы находите, Афанасий Кондратьевич, это стоящая работа?”

А Лисицкий А.К. размякая и одновременно приподнимаясь на цыпочки убрав одну руку за спину, а второй жестикулируя и попыхивая туберкулезной папироской “Север” с приподнятым подбородком и растянутаой презрительной усмешкой – “хе-хе-хе” – изрекал: “Ничего не вижу существенного, хи-хи-хи. Лучше посмотрите как я работаю, – и прищуривал томно полупьяненькие глазки. – Вот по-

любуйтесь на недостижимые вершины профессионального мастерства. Так сказать искусство для “итькутьва” – ха-ха”.

Постепенно Блошистова Серафима Глаголевна подна-торела в делах и влилась в коллектив Афонасия Кондра-тьевича и Никодима Владленовича, стараясь не пропус-тить ни единой пирушки, а порой даже сама старалась это дело организовать.

Сделали, например, мужчины ворота – вынимает из ко-шелька свои наличные: “Вот вам 20 рэ, пожалуйста, беги-те в гастроном за “сугревом”. Или проверка прошла удач-но – нате вам пять рублей на похмелье. Провели детский конкурс – Серафима Глаголевна опять предлагает: “Что-то стало холодать...” Не говоря о днях рождениях и про-чих больших праздниках – тут она в первых рядах – не забывает свои руководящие обязанности.

И потянулись в это заведение светлые и темные лич-ности, зная наперед, что в любой день там можно найти и приют, и ласку, и похмелиться, а особенно в кануны...

И даже музыкальную часть можно послушать на рас-строенном баяне, и спеть коллективно что-нибудь вроде “По Дону гуляет...” Дирижируют хором в таких случаях Ли-сицкий А.К. Он и тут величина. Как и в любом деле.

А Гребунов в подпитии с кем угодно сразится хоть на табуретках, хоть на кулаках – в подпитии особенно сме-лый. А не победит, так послать может... куда подальше... С досады... Или укажет перстом Блошистовой на кого – тому не сдобровать. Или выгонят с треском, или уволят по собственному желанию, а на кого строго цыкнут – знай власть имущих и почитай, а не то... худо будет. Или Гре-бунов ей на ушко нашепчет, он сейчас в заместители про-лез, пристроился – ни за что не отвечает, а все-таки власть, командовать можно. Кто, где и когда ему начнет перечить или не так на него посмотрит – как положено на вышестоящих смотреть, то есть снизу вверх и с дрожью

в коленях, или уж вовсе обнаглеет – выпить с ним откажется – живо на карандаш и со свету сживет. Ох, и горазд он демагогию разводить да о дисциплине рассуждать, когда в руках стакан с зельем:

– Я, когда выпью, у меня занятия как по маслу идут, а язык сам знает, что надо говорить. Я в общеобразовательной начинал. Раз с тяжелого похмелья пришел на работу и ко мне на урок директор заявился. Вот где пытка была. Ох и дал он мне жару потом. Я сразу сбежал от него. Сюда устроился. Здесь нам лафа. Пей, сколько хочешь, да только ума не пропивай, мне так папанька всегда советовал, – завершал свою речь коронной поговоркой Никодим Владленович.

Заходит Малешков утром в свое заведение, слышит – шебуршит что-то в углу. Включил свет, а там, возле батареи костромчик серенький, измятый шевелится в пыли, в блевотине да окурках. Лицо бледное, голова трясется, волосы в разные стороны торчат.

– Охо-хо, – говорит серенький костромчик. – Ну, батенька мой, и набрались опять вчера, поработали. Головка “бобо”, во рту “кака”, а в карманах “тю-тю”.

Приходит Лисицкий, тоже хмурый.

– Ты, – говорит костромчику, – не ходи такой к детям. Я схожу и отпущу их домой. Мне-то самому надо марлевою повязку одевать, будто что гриппозный, а то перегарищем несет. Я вчера ночью проснулся – где я? Пошел на выход – в заведении своем – торнулся к двери – закрыто. Я окно выставил и убежал домой.

Заявляется Гребунов – на костылях. Говорит, что в канализационную яму попал ночью, еле выбрался. Ногу вот подвернул. Достает из кармана початую бутылку светленькой и ликует, все хором поддерживают его воинственный вопль. И пошел стакан по кругу. К вечеру надо думать опять загудит заведение ультуры.

Забегает Блошистова: “Да вы хоть бутылки-то уберите

со стола – вдруг кто из родителей заглянет!” Уж на что горластая на неугодных, а тут с испугом в голосе приглушенно сипит – тоже после вчерашнего. Вваливается частый гость – у него нюх на это дело – выставляет на стол “бомотуху”.

– О-о-о! Порядок! – раздаются возбужденные голоса. Все враз закуривают – потерялись четкие очертания предметов. В кабинете у Блошистовой картишки появились – то ли играют, то ли вороват – что было, что есть и что будет, то есть чем сердце успокоится. А вот и чаек закипел. Время бежит, а занятия идут – дети сами справляются с заданием. И зарплата идет...

А показатели? А что показатели? Какие захотим – такие в отчете и будут. Все в наших руках... Дело к вечеру. Детей пораньше отпустим – заместителя в гастроном откомандируем и, чтоб не выходить во двор, помочимся в умывальник, где дети пьют, умываются и воду набирают для работы; облегченные, вернемся к столу и своим стаканам, чтобы опять зузить потихоньку оставшуюся “косорыловку”.

Поглядел на это Малешков, усмехнулся на подмигивания Гвоздина: “Мол, давай бахни маленько”, – и отправился в темноту ночи, домой, в свою деревню Ольховочку.

Проходят дни, летят годы.

У Малешкова нынче выпускной класс. Только дети сосредоточились и начали работать, как залетает директриса Блошистова и орать как всегда, не спросив даже разрешения войти:

- Что это у вас шапочки на подоконниках?
- Потому что дежурного нет в раздевалке.
- А что это у вас пол грязный?
- Технички не вымыли вчера, воды не было.
- До чего распустились, уже девочки по деревьям стали лазить!

– Все лазают, им тоже охота. Эмансипация.

– Чтoб у меня порядок был! Это вам не частная вотчина, а государственное учреждение!

Она всегда так, ворвется, точно с цепи сорвется, наорет, наорет и убежит. Провела профилактику. А занятия расстроились.

За что же она решила известить Малешкова? За то, что он не проголосовал за нее, когда ее выбирали, вернее заведующая предложила выбрать кандидатом в депутаты?

Или Лисицкий с Гребуновым ей опять напели, что Малешков зазнается, не остался вчера с ними полуночничать?

...Вызывают Малешкова в кабинет директрисы, там сидит мужчина средних лет, лощеный, глаза изучающие – так и едят Малешкова, нос крючковатый, хищный, рот плотно сжат. Указывает на стул.

– Ну, Малешков, рассказывай, что у тебя стряслось? Я из аппарата, из высокопоставленных, – и указывает пальцем вверх.

Малешков сразу понял. Побеседовали. Тот что-то записал бисерным почерком. Отвечает:

– У них все законно сделано. А у вас свой дом. Вам не положено.

Малешков молчит. А мысли вокруг одного вертятся: “Значит Малешкову не положено, а Гребунову – прохиндею и прощельге – положено. Все понятно.”

– Вы знаете, – продолжает ответственный товарищ, – сейчас острые проблемы с жильем. Надо ветеранам дать, бараки снести, из подвалов выселить. И что вам не живет в деревне? Свежий воздух, раздолье... (“И удобства во дворе”, – дополняет про себя Малешков).

И напоследок посоветовал, чтоб Малешков от коллектива не отрывался, а то они обижаются.

Только высокопоставленный удалился, Блошистова живо прицепила клочок рваной бумажки с надписью “Об-

щее собрание”. Никакой повестки дня, ничего больше. И стрелку в сторону стола Малешкова провела. Встала посредине комнаты и ждет, когда все рассядутся. У одной стены – Малешков, у другой все остальные. И судилище началось...

Все смотрят на Малешкова, бунчат что-то не разборчивое, бутусятся. А Блошистова сияет: “Товарищи, проверка прошла нормально, у нас все в порядке! Понравилось вышестоящему! А ты, Малешков, весь коллектив подводишь, мараешь нас. Не вздумай больше, чего такого, еще чтоб! Понял у меня?”

– Это приказ? Как придется. Если наглость и вседозволенность будут и дальше продолжаться, то не зарекаюсь.

– Я прошу! – говорит Блошистова тоном приказа.

– Смените интонацию, если просите. И чтоб больше не было агрессивных наскоков!

– Всем ясно? – завершает выступление она.

Гвоздин В.М., поворачивается к Малешкову. “Ну что тебя побудило, Малешков? Расскажи нам?”

Малешков упорно молчит, знает, что откровенного разговора уже не получится. Думает про себя: “Может вам, как пионеру-школьнику, слово дать, что больше не буду” – и усмехается одними глазами.

Лисицкий высунул и с ехидцей подтрунивает: “Надо снимать наши фотографии, раз недостойны?” Все смеются. Торжествуют, раз победило хамство.

Посидели еще немного. Помолчали. Стали расходиться. Малешков уходит на занятия. За ним вылетает Блошистова: “Ты почему не на лекции?”

– Завтра защита у моих ребят, и приболел малость, морозит. Не готов я.

– Ну ладно, я тебе это припомню, – прошипела директора, убежала дверью хлопнула.

Прошла защита. Ребятам выдали свидетельства. Рань-

ше в таких случаях праздник был. Коллеги пьют свое крепкое зелье, а дети – газировку. После чего Гребунов начал ораторствовать, воспитывать детей, а они только тихонько улыбались, глядя на “красноречивого” заместителя. На этот раз впервые выпускной вечер был проведен “на сухую”. Малешков помахал своим питомцам на прощание и вернулся в комнату. Коллеги объявили бойкот. Молчат. Блошистова раскрыла папку с бумагами и зачитала: “За невыполнение указаний Малешкову объявляю строгий выговор!”

“И это в самый мой торжественный день? Вот спасибо, – подумал Малешков. – Дождался наконец-то. Заработал за двенадцать лет честной работы. Думал, что так и останется без “поощрений”, без внимания. Ну, спасибо!”

Надо бы плюнуть ей в ее наглые пустые глаза, да ноги почему-то отказали в самый ответственный момент; не может сдвинуться с места. Не ожидал, видимо. Коллеги довольные, прячут ухмылочки, прохаживаясь вдоль пустых столов.

Набрав воздуха, Малешков приходит в себя, щека его дергается, и он, сделав глубокий поклон, отвечает: “Благодарю покорнейше. Служу Советскому Союзу!”

Тяжело выходит на свежий воздух, доставая из кармана баллончик с таблетками валидола и кладет одну под язык, ощущая приятно-освежающую прохладу.

... Через несколько дней, а может недель, вызывают Малешкова в кабинет директрисы. Там сидят Гребунов с Подпятиной.

– Ты писал? – потрясает письмом Блошистова. – Додумался в центральную прессу писать. И что думаешь, они будут с тобой разбираться? Жди да радуйся. Нам прислали твое письмо, чтоб мы, МЫ разобрались с тобой. Понял теперь – на чьей стороне сила? Если мы тебе не подходим, лучше увольняйся! Все равно тебе житья не будет, – зло прошипела Серафима Глаголевна.

– Еще напишу, – не унимался Малешков.

...И он написал заявление об уходе по собственному желанию...

Раз у нас не создано еще правовое государство, то кто же нас должен теперь защищать?

Нутро все выгорело, опустело... И сгорела вера... А как нагло заявляют: “Хоть в ООН пиши, толку не будет, ничего не добьешься”.

Круговая порука значит... И один в поле не воин...

Идет Малешков сквозь ночь. Темнота, хоть глаз выколи; только далеко-далеко впереди мелькают крошечные огоньки...

Голова разламывается от раздумий: “Как дальше жить? Как действовать против сцементированной пирамиды? И во что верить? Мало того, что они действуют в угоду своим интересам, желаниям, но и считают эти действия единственно правильными и верными. Устраивают свою жизнь по волчьим законам и так, как им удобнее и выгоднее. А терпеть больше нет никакой возможности...”

И одному этот мир прохвостов не победить и не переделать.

Но кто-то же должен начинать первым. А как в атаку на врага вставали из окопов? Страшно, а поднимались и шли...

И умирали...

Но победили. За первыми шли остальные”.

...Кончается май. Отшумели, отбуянили майские ветры, неугомонные, безудержные, не знающие куда девать свою силу молодецкую, на худо ли, на добро ли. Будто задумались они впервые как бесшабашные ребята-подростки. Тишина. Солнце припекает. Девочки в белых фартучках последние дни дохаживают в школу. Скоро каникулы.

...Молодой мужчина, лет эдак около тридцати пяти, обо-

шел здание, остановился на солнечной стороне, достал сигарету и газовую зажигалку. Повернулся лицом к окнам заведения и из бутылки вылил бензин на себя. Оставались последние минуты. Тупой болью защемило в левой половине груди. Он поднял голову, попрощался с голубым безоблачным небом, с начинающими зеленеть и распускаться листочками. С великим трудом нажал клапан зажигалки. Раздался оглушающий гул. Пламя рванулось к небу...

Последнее, что он увидел – это были безумно-испуганные округленные глаза детей и их бледно-серые лица, прильнувшие к окнам классов...

...На этом Малешков хотел завершить свой рассказ.

Но бурные события заставили его сесть и дописать о случившемся с ним происшествии и обратиться в редакцию местной газеты “Юшкинская ночь”:

“Здравствуйте многоуважаемая редакция газеты “Юшкинская ночь”! Мне нравится ваш боевой дух и смелость вашей свободной газеты. Он вселяет уверенность в дне сегодняшнем и поддерживает веру в лучшие времена. Я обращаюсь к конкретному человеку, к заместителю редактора Полевчуку И.Д., и прошу стать беспристрастным арбитром в одной истории. Это событие произошло в минувшее воскресенье – 18 ноября 1990 г. Прошу опубликовать мое письмо:

...С призывно-воинственным, похожим на пороссячий визг криком, они стали наступать на свою жертву. “Режь на куски эту рыжую свинью, грызи ее глотку, пей ее теплую кровь, делай из нее дерьмо собачье, чтоб неповадно другим было, перетирай ее в стиральный порошок”...

...Они наседали с двух сторон, все ближе надвигались их распаленные в гневе пасти, изрыгая ругательства.

И я почувствовал, что если не буду защищаться, меня сомнут. Оттолкнув мужчину, я услышал при этом крик: “Он первый начал, он первый!...” И атака с новой силой и воплем навалилась на меня. Я отбивался как мог. Но удар по затылку чем-то тяжелым вывел меня из равновесия. Я на миг потерял сознание. Дальнейшее плохо помню. Вижу, покатилась моя шапка. Мужчина кинулся к ней, но я успел схватить ее первым. Женщина продолжала грозно кричать: “Пикнешь – в порошок сотрем!”

Казалось бы, что особенного, распаленные в нынешние времена нервы не выдержали ну и пошли в ход кулаки – чтоб выяснить отношения. Если бы было так...

Эта история имеет давние корни. Ее следы тянутся из того 1985 г., который вселил в нас на первых порах новые надежды... Многие подняли головы и заговорили открыто. Но демократии и гласности еще не было. Система бюрократов крепко сидела в своих креслах. И сидит, и продолжает карать – ломать и давить административной властью, включая и физическую расправу... Почему это власть имущим все дозволено?

Идет запугивание. Что за сила стоит за ними, почему они чувствуют свою безнаказанность?

Поэтому прошу Вас разобраться в этой истории. Скажете – почему не обращаюсь в правоохранительные органы? Обращался в свое время. Все бесполезно. И веры в них не осталось. Они защищают интересы власть имущих.

Если вы не вмешаетесь, то может произойти непоправимое – могут появиться новые калеки и инвалиды в мирный период “гражданской войны”, где уже не национальность виновата, а цвет бороды (огненный, т.е. рыжий) или цвет глаз...

Не допустите этого!

Сделайте эту историю гласной! Если она есть – эта гласность – хотя веры в это тоже не остается. А самое страшное – это жить без веры!

Конечно, вам хочется узнать, а почему же разразилась такая бойня? Из-за чего надо бить сразу сзади чем-нибудь потяжелее?

Мою жену какой-то бандит (все еще неизвестный) тоже хотел убить сзади, нанеся пять ножевых ранений. В результате чего она стала инвалидом I группы – парализация нижних конечностей. Спасибо хирургу, который спас ее от неминуемой смерти.

И если кто-то не удовлетворится исходом “битвы”, то видимо, будет подыскивать что-то поострее и потяжелее?

Вы, конечно, пристрастны к этому художественному заведению, но знаете его с внешней стороны, а я проработал в нем 12 лет и знаю взаимоотношения изнутри. Эта женщина, как Вы поняли, Блошистова С.Г. с мужем и есть мои противники в прошедшей схватке. Но немного истории.

...Она, став директором, начала рычать на всех, как с цепи спущенная. Потом ее вроде “приручили”. Она стала кидаться на тех, кого считала “ниже себя”. Предложила уволиться Кривоносову И.А., Бодулиной, мне, Телятиной, Цузанову, Мазакону.

За глаза ее называли “дурой”, а наяву лебезили. Даже избирали кандидатом в депутаты (зав.отделом культурного заведения приказала избрать).

А я проголосовал против. Меня лишили права на получение кооперативной квартиры – ее перехватил Гребунов Никодим Владленович, бывший тогда зам.директора и профорг. Мне пришлось уехать из города в д. Ольховку.

Блошистова встала на сторону Гребунова Н.В. Я обращался в горисполком, в прокуратуру, – но право осталось за властью имущими.

Я написал в газету “Пруд”, но письмо отправили назад, как это делали раньше, в руки Блошистовой. Они с Гребуновым вызвали меня в кабинет и предложили уволиться по собственному желанию. Так мне пришлось

уйти с любимой работы. Недавно, повстречавшись с Блошистовой на улице, я сказал ей: “Мне почему-то хочется плюнуть вам в лицо”.

И осмелев, или обнаглев от отчаяния, как вам будет угодно, взял да плюнул. Она, конечно, в долгу не осталась – ответила мне таким же образом.

Вроде бы обменялись любезностями, можно и разойтись.

Но нет, она вместе с мужем решила на “кровную месть” или почти на смертоубийство, которого просто не получилось по счастливой случайности...

Как же, как же, они не привыкли, чтоб им так отвечали на их дела.

А мы, ничего, привыкшие, частенько власть имущие позволяют себе, правда, не в натуральном виде, а в переносном – в самую душу плюнут и пинают. Но что душа по сравнению с физиономией – так, один эфир – пойдти найди, где она там; не видно ее, а значит и преступления, насилия или террора нет – можно быть безнаказанным. А на харе-то (по простонародному выражению) видать и.. не очень-то приятно.

...Вот я снова вернулся к началу “битвы”. Это было воскресенье - 18 ноября 1990 г. в 12 часов пополудни. Они с мужем приехали на одном со мной автобусе. Дождались, когда я выйду и ... пошли в наступление.

Дальнейшее Вам известно.

Чего я хочу? Защиты? Нет!

Я хочу гласности и права жить!

Нас всю жизнь запугивали и продолжают это воспитание. Страшно, конечно, не оттуда ли, из того сталинского средневековья идет эта чванливая самоуверенность.

Не потому ли, что закон попирался властью имущими?

В тот же день природа не на шутку заразилась той неумной энергией “расправы”.

Как начало дуть, вертеть со страшными порывами

ветра и обильным снегопадом. Я решил обратиться за помощью к Вам. Хватит Смертоубийства...

Малешков Г.А.
д. Ольховка

Вот такое письмо сочинил Малешков после драки. Хотя есть пословица: “После драки кулаками не машут”.

Но Малешкову и не хотелось махать кулаками. Он до безумия хотел одного – справедливости в этой своей единственной жизни. И надеялся ее найти... Иначе бы и не писал таких писем в газету. Но газетчики тоже люди. И хотят кушать. Хлебушек. Да еще с маслом.

Поэтому приходится прислушиваться... И прислуживать кое-кому в Верхих...

Вызывают Малешкова в редакцию газеты “Юшкинская ночь” где сидят два корреспондента. Один с черным загорелым лицом, с близко расставленными обвиняющими тебя глазами, лет эдак 50 с гаком. Второй – молодой с пухленьким личиком, ровным овалом и в круглых очках, похожий на студента-практиканта.

Посадили Малешкова посредине и начали перекрестный допрос. Он крутит головой, поворачиваясь то к одному, то к другому, пока ему это не надоело. Ему показалось, что под него копают, то есть пытаются найти компромат, а интуиции он всегда доверял. И тут решил прекратить это издевательство. Извинился и пошел на работу, мотивируя тем, что не располагает временем.

Прошли сутки. Ночь прошла в раздумьях. Сна не было. Из разговора с корреспондентами он понял, что бороться придется одному. Они не собирались ему помогать. И он решился... Прекратить борьбу. Забрать из газеты свое письмо. И вот почему.

1. Сталинизм – в лице административной бюрократической системы в одиночку не одолеть и справедливости не добиться, так как групповой эгоизм сильнее истины.

2. В начале разговора корреспонденты меня обнадежили, что напечатают мое письмо, но с комментариями исполкома и прокуратуры. Но эти структуры не увидели криминала, а наоборот – поощрили очковтирателей, наградив их переходящим знаменем (т.е. культурное заведение).

После разговора с корреспондентом Лапиным мне стало ясно одно – что письмо мое печатать не собираются, а лишь одни комментарии будут печатать. Моих недоброжелателей. А проще – моих врагов. Их же больше одного, поэтому объективности не будет. То есть снова попытаются “Стереть в порошок”.

И мне эти комментарии перед печатью не собираются давать прочесть. Так что я забираю свое письмо обратно. Как будто его и не было. И пусть Ваш ретивый корреспондент Семен Велосипедов продолжает пописывать свои торжественные оды в честь культурного заведения города Юшкинска. И больше не буду омрачать Вашего о нем представления.

Обдумав это, Малешков решился. В обеденный перерыв приехал в редакцию и забрав свое убийственное письмо, раскланялся с повеселевшими корреспондентами, которые тут же в хлопоте своих дел, сразу, как только Малешков скрылся за дверью, забыли о нем. И ни разу не вспоминали. Если бы... Не получили от Малешкова увесистую бандероль. Вначале они долго недоумевали – что бы это могло быть. Распечатали. Там оказалась повесть Малешкова о самом себе любимом... Посмеялись, конечно, вдоволь... И поручили одному молодому, но подающему, кое-какие надежды дать Малешкову ответ, т.е. откат.

А перед этим в газете “Юшкинская ночь” был объявлен конкурс им. А.Д. Зинченко, на лучшее литературное произведение. Если бы не это объявление, то Малешков никогда бы не решился. Он изменил настоящие фамилии и отослал повесть в газету. Долго не было ответа. Прошли

и сроки конкурса. Но все-таки в газете появилась небольшая заметка, что премии и места решили никому не присуждать. То есть конкурс тихо прикрыть. Вскоре Малешков получил письмо от редакции. Письмо пришло на фирменном бланке.

Редакция газеты “Юшкинская ночь”
орган Юшкинского городского комитета КП”ЭСЭС”
от 27 февраля 1989 г.

Ваша повесть на конкурс нами получена, но для печати в нашей газете она не подойдет.

Во-первых, очень большой объем – 15 машинописных листов.

Во-вторых, он, в силу своих недостаточных художественных достоинств, неинтересен.

В-третьих, слишком пессимистично Ваше произведение по мировосприятию.

Может быть мы и ошибаемся – у нас ведь не литературно-художественный журнал. Вы можете отправить рассказ в любое другое издание.

Зав.отделом писем
Семен Велосипедов.

Вот такое послание получил Малешков. Вначале сильно расстроился. Но прошло время... Много воды утекло...

Но память все скрежетала и скрежетала по сердцу.

А через пять лет у Малешкова вышла первая книжка – “От капли до капли”. Через два года новая книга – “Все пережили”, через год – третья - “Устремление”, еще через пять лет – “К источнику”, а через два года – “Айда с Богом!”, а еще через пять лет – Малешкова приняли в Союз писателей России...

КУПЮРЫ

Сижу как-то вечером на остановке и поджидаю свой автобус, посматривая вдоль по улице. Нет, опять не наш, это однёрка, а там 3“а” подходит. Жду. Рядом девушка сидит молодая и миловидная из себя, но как-то неестественно навалилась на спинку скамейки – искособенилась вся, потом выпрямилась, туловище ее покачнулось вперед, девушка сплюнула тягучую слюну, достала из сумочки платок, утерлась, осмотрела окружающих туманно-призывным взором и снова откинулась на скамейке – нате, мол, меня за рубль двадцать.

Слева от меня расселся носатый мужик лет пятидесяти, весь черный, с огромными лохматыми бакенбардами и близко посаженными к переносью маленькими острыми глазками, чем-то похожий на известного кавказского киноартиста из кинофильма “Место встречи изменить нельзя!” Он только ухмыльнулся, когда девушка тяжело встала и нетвердым шагом пошла к своему автобусу. Вот и уехала симпатичная девушка в замшевом плаще.

– Ну и молодежь пошла, сыт, пьян и нос в табаке; не наш брат, что всю войну на мороженой картошке росли. Весной, бывало, придешь из школы и на гору, надолбишь ломом мороженой картошки и принесешь домой. Мать настряпает из нее алябушек да на железной печке напекет, вот и наешься их с молоком или простоквашей. Ох, и вкусные были эти лепешки из мороженой картошки. Теперяшняя молодежь и слыхом не слыхала об этом, а дай им попробовать – дак и есть не станут. А мы их так хотели, что некоторые и на хлеб бывало их меняли...

Смотрю на подходящие к остановке автобусы. Что это такое – все еще нет нашего. Сижу, молчу, не поддерживаю разговора.

Глянул на тротуар – метрах в трех от меня лежат какие-то бумажки. Я в начале подумал, что это проверенные

лотерейные билеты валяются. Смотрю внимательнее – сердце чаще застучало, неужели ассигнации? Встал, а самому стыдно чего-то, но подошел, наклонился, протянул руку и, – как обжегся, поднял – правда купюры - и все четвертные, все по двадцать пять. Кровь к лицу прилила, руки словно огнем жжет. Вернулся, сел на свое место, купюры в руках держу и говорю вслух: “Я-то думал, что это лотерейные билеты лежат.” Сам то разверну веером их, словно карты, то сложу обратно в колоду, а в мозгу стучит – что с ними делать-то, ведь все видели, наверное, как я их поднял? То ли в карман положить, то ли как?

Смотрю, мужчина тоже заволновался: “Я, – говорит, – давно на них смотрел, да думал кто подшутил, пойдешь поднимать, а тебя и разыграют. Сегодня, наверное, получка была.”

– Да, видимо, – подтверждаю его слова, – пятое число сегодня. Скоро 8-е марта, может объявится кто?

– Да кто спохватится, время-то уже позднее, восемь часов вечера, тем более, если пьяный потерял.

– Слушай, – подвигается ко мне черный и страшно волосатый мужик, – давай разобьем пополам, а?

Мужик хитровато прищурился и без того узкие как лезвия глаза, подмигивает мне.

– Пошли отойдем брось менжеваться, – и кивает головой в сторону.

– Да ты что, – отвечаю, – может еще хватятся? А нет, я тогда сдам в стол находок.

– Ну ты, дурак что ли, совсем чокнутый? Другое дело – были бы башли в кошельке, а тут вот оне голенькие, теплые еще поди. А там «мусора» враз зацапают и спасибо не скажут. Им только подай.

Тут мужик, поведив глазами, резко так произнес: “А ну пошли сдавать тогда. Ты один не сдашь. Пошли, ну-ко давай, вставай!”

Вечернее небо сгущалось все синей и синей. Сумерки опускались на город.

– А у меня, – говорю, – сейчас автобус придет. Я уж его целый час жду. А завтра сам сдам.

А про себя думаю: “ Ни за что я с ним не пойду, еще кокнет чего доброго где-нибудь в темном месте. Да и кто ты такой, чтобы надо мной командовать?”

– Пошли сейчас, – привязался и наступает, просто буром напирает, уголовная рожа, – ты завтра не сдашь, знаем мы вас таких, когда время-то пройдет и че ты пойдешь туда сдавать. Прикарманишь да и все.

– Пошел ты от меня подальше, – думаю про себя.

А мужик уж меня за руку взял, но тут увидел, что подошел его автобус, он и попустился. Встал и пошел к людям, стоящим толпой около автобуса. Повернувшись в мою сторону стал орать и показывать на меня, что я чью-то получку нашел и не хочу их сдавать в стол находок. Народ вылупился, смотрит – кто с искренним недоумением, а кто с завистью, а кто с явным пренебрежением и осуждением; находились и такие – откровенно одобряли мои действия.

Один великолепно подвыпивший и нетвердо стоящий на ногах мужчина, довольно гофрированного вида, покачивался в такт какой-то ему одному ведомой мелодии и что-то бормотал себе под нос, озирая абсолютно трезвую толпу ожидающих автобуса верблюжье-самодовольными полуприкрытыми глазами, пожевывая и слюнявя мундштук с сигаретой “Прима”, изредка смачно сплевывая. Услышав разговоры, тоже решил принять участие в дебатах, внося на всеобщее демократическое обсуждение свою точку зрения: “А пусть, – говорит, – не сорят деньгами-то, а то больно богатые стали, разбрасались вон че. А ты парень набери-ко на все вина да и отметь это дело. Ы-ык. Все равно никто не найдется, если бы в кошельке... тогда б другое дело. Ы-ык. Тогда можно бы было объявление через газету сделать...Ы-ык. Или, чтоб милитонам не отдавать, можно сдать в этот... в как его... в

Фонд мира. Ы-ык! Знаете пословицу, уж не помню кто ее придумал: “Хочешь мира – готовься к войне”. Ы-ык! Мы, наверное самые подготовленные нонче... Ну и правильно – чтоб не получилось опять, как в сорок первом, с трехлинейкой на танки... Ы-ык. Вот я тоже сдаю в Фонд мира свою получку, только через гастроном. Ы-ык! Га-га!

Довольный, удачно найденной мыслью, прохрипел сморщенный, как куричья попа, рот гофрированного.

Еще долго сидел я на остановке, уж все уехали, кто меня видел там, только потом, наконец, появился полевской автобус.

Приезжаю домой, рассказываю – так и так – говорю, что меня один уголовник чуть в милицию не сдал. “За что?”, – спрашивает, испугавшись, жена. “А за то, что я кучу денег нашел и не пошел их сдавать”. Поговорили и сошлись на том, что их надо все-таки сдать.

На следующий день мне пришла новая мысль – сдать не в милицию, а в Советский фонд мира. Но жене ничего не сказал, а поехал сразу в сберкассу. Прихожу – вот незадача – не работает сегодня.

Еще прошло несколько дней. И вовсе нехорошие мысли зашевелились: “То ли уж совсем не сдавать”, – думаю. Подарок лучше жене купить – на носу восьмое марта – женский праздник. Опять жена спросит – где столько денег взял, а мы договорились с ней, что надо сдать. Надо, так надо – пойду сдам – то ли мы мало зарабатываем, то ли много кому должны?

Пошел на почту. Заполнил бланк, написал, что в Фонд мира, а номер счета не знаю. Женщина-кассир посмотрела на меня поверх очков и отвечает, что она тоже не знает номер счета.

Обратились к соседке, и та не знает, а только говорит, что в Фонд мира надо в госбанк сдавать. Ну не везет мне, у меня ноги сильно заболели в последнее время, врачи говорят: какие-то шпоры выросли на пятках, я ходить не

могу, а меня гоняют и гоняют туда-сюда. Что делать?

На следующий день встал пораньше и поехал в банк. Оказалось еще рано – закрыт. Рядом белеет собор отреставрированный, правда, по низу вся штукатурка уже отвалилась. Полюбовавшись прекрасным памятником архитектуры XVIII века и кучами мусора и земли вокруг, я снова отправился доводить начатое дело до конца.

В зале было почти пусто. Ко мне сразу же подошел молоденький милиционер, у которого под кителем бугрилась кобура с пушкой. Почему-то в такой неподходящий момент у меня шевельнулась очень и очень некрасивая мысль – вдарить этого сержантика по кумполу, выхватить у него пушку и надев черную маску оказаться возле кассы. Да, после такой операции можно бы было часть ассигнаций сдать в Фонд мира – так это самое неудержимое желание всего человечества, или в Фонд детей живущих в интернатах – дети наше будущее, или в Фонд Красного креста – так как мы все часто боеем, и в Фонд Красного полумесяца, и в Фонд доноров, и в Фонд памятников культуры...

А то моей получки едва-едва хватает расплатиться с марками этих организаций, притом меня зачастую и не спрашивают – состою ли я в этих организациях. Подадут марку и говорят, чтоб заплатил и расписался. И чтоб быть независимым ни от кого...

Но подумав хорошенько, я все-таки отказался от детективной истории с налетом на банк, все-таки такие вещи надо планировать заранее...

Объяснил безусому сержанту о цели своего прихода. Взяв бланк, я заполнил его с великими раздумьями и подошел к одной из касс. Молодая девушка взяла бланк, посмотрела на меня высокомерно-подозрительно и вернула его обратно со словами: “Во-первых – снимите черную маску, а во-вторых – по субботам этот сектор не работает”. Я потрогал свое лицо – никакой маски на нем не

было, с чего она это выдумала... “Вот тебе на – думаю. Опять не повезло”. И с тяжестью в душе и в сумке вышел из банка.

Иду по улице. Забрел в универмаг, а там толчея предпраздничная – у меня сумку из стороны в стороны тянут, когда сквозь толпу протискиваюсь. Как бы лямки не оторвались.

Поболтался по этажам, но выбрать ничего не мог – всего много, а купить нечего. Измотанный вконец, с помятой талией, потный, мокрый и красный как из бани я был выплюнут празднующей толпой на улицу. Остановился в крепком раздумье – что же все-таки подарить жене к восьмому марта? Домой заявляться порожним не хотелось... Понурый, я нехотя побрел в спешащем потоке озабоченных мужчин.

Ноги почему-то привели меня к одному из гастрономов – видимо, поток мужчин увлек меня за собой. Я в недоумении посмотрел на длинную очередь и, спросив крайнего, тоже встал. Настроение упало до нуля...

Но тут-то и сработал последний датчик, так называемая в простонародье «тяма», в моей, уже начинающей лысеть голове. Обрадованный неожиданным решением, я вспомнил про найденные на остановке деньги, то что теперь значит под кодовым названием – «Советский фонд мира», и стал резво и проворно протискиваться в шевелящейся плотной массе ожидающих женщин и мужчин с объемными хозяйственными сумками. Вскоре поток придвинул меня к прилавку, сзади напирали, кого-то из молодежи подняли на руки, и он стал передавать деньги через головы, а потом так давили, что кажется затрещали ребра, и я готов был залезть на прилавок, но против коллектива не попрешь, причем такого спянного и спяного. И тем более, что время неумолимо движется вперед – и вот я в поле зрения продавца – а к нему как к магниту тянутся жилистые, костистые и волосатые, жир-

ные и грязные – то бишь загорелые от угольной пыли и масла рабочие и не очень руки.

И все жаждут, как исцеления от страшной проказы – от прикосновения к руке Христа-продавца, прося исцеления от приученной в застойные и застольные годы болезни. Исцели, Господи, не дай помереть мучительной смертью трезвенника. Помилуй и спаси нас, Господи! Аминь!

Очутившись перед продавцом, я как-то растерялся вначале, думал, что в очереди буду стоять вечность, даже не верилось в это чудо, что я у цели. Мужчины с недоумением рассматривали меня – некоторые уже резко возмущались, что задерживаю; иные сомневались, что я из их рыцарского племени.

“Чего как баба рассусоливаешь?” – и подают деньги через мою голову. На решение оставались считанные секунды: “А, была-не была”. Достая сокровенные – фондовские, других у меня не было, сидел на мели – творческий кризис затягивался. Так что карманными деньгами такой суммы я не располагал. Хотел лишь одну взять, но в последний момент вспомнил свои помятые бока, что произвольно сказал продавцу : “На все!”, - и, у меня полная сумка стеклотары с горячительным напитком в три звездочки.

Довольный, еле выбираюсь из толпы, с недостающими пуговицами, правда, это мелочь, по сравнению с тем подвигом, что я совершил. И как это я решился на такое? А ведь некоторые этот подвиг совершают каждый божий день. Им и памятник пора при жизни поставить. Да, в жизни всегда есть место подвигам!

Шагаю домой уверенной походкой мужчины-победителя. Праздник отметим что надо! Как бывало! Захожу на кухню. Никого. Не раздеваясь прохожу в комнату, улыбаюсь. Жена сидит, шьет. Посмотрела на меня подозрительно из-под очков: “Чего ухмыляешься, или опять кошелек нашел? А часом, того, не тяпнул, а? Ну-ка дыхни!”

– Да не, я на собрании был... на торжественном... Хе-хе...

– Ну, ну, давай рассказывай, что там было у вас?

– А че рассказывать-то?

Тут я замялся, бутылки, переложенные в карманы, оттягивали штаны.

– Чего как не родной стоишь?

– Раздевайся, – а сама смотрит пристально изподлобья, то есть из-под очков, что я буду делать дальше.

И вдруг: “Ну-ка покажи, что у тебя там?”

Я вздрогнул. “Нет, – говорю, – ничего такого”.

– Я же вижу. Бутылка что ли?

– Да нет же, – а сам внушаю себе, – спокойно, все нормально. Дышать глубже.

– А чего тогда? – не унимается жена, и как бы вспомнив. – А-а-а... Все, поняла, поняла...Покажи, что ты мне купил, а? Я только одним глазком взгляну.

Я повесил пальто, снял ботинки.

– Ну иди сюда, мой хорошенький, лапочка ты моя, золотко ненаглядное, дай-ка я тебя расцелую.

– Ну, ну, – отворачиваюсь я, придерживая карманы брюк.

– Давай вместе посмотрим, а? – обхватив мою шею руками заглядывая мне в глаза, ласковым голоском мурлычет она. – Все равно ведь ты сейчас выложишь, не будешь же в брюках спать ложиться!

Перед этим доводом я сдаюсь и с торжественно-сияющей улыбкой достаю и ставлю бутылки на стол... Дальнейшее описанию не поддается. Семейные поймут и представят диспозицию, дислокацию и дезактивацию и экзекуцию. Холостякам же я советую срочно жениться и желательнее на учительнице.

С тех пор я тщательно обхожу гастрономы с винными отделами, а деньги и кошельки, найденные мною, кладу на сберкнижку, так как собираюсь скоро покупать машину... Вот такие пироги...

Еще раз с праздником Вас дорогие и милые женщины, с днем 8-е Марта!

С праздником весны и света, тепла и доброты!

Огромного Вам счастья, крепкого здоровья, успехов всяческих и большой неугасающей любви!

Все!

КОРОЛЕВА...

– Каюсь и чистосердечно признаюсь во всем, граждане судьи.

Я вообще-то никто. Никакой не начальник. Я бывшая кухарка. Деткам в детском саду супы да каши варила раньше-то.

А тут мне неожиданно доходное место подфартило. Вот я и начала корчить из себя “королеву”... Чтоб мне все завидовали. Ух, сама-то я шибко завидующая баба! И хотела, чтоб мне, тоже завидовали. Только зря вы меня в КПЗ-то упрятали. Я и так от своей конюшни никуда не сбегу. И зря вы 55 “лимонов” на меня навешиваете.

Ну было дело. Нет, – говорят, – дыма без огня. Но чтоб столько! Волосы дыбом встают. Всю жизнь я мыкалась без денег, бедняжка. А тут фортуна ко мне лицом повернулась. Очень уж мне понравилось это доходное местечко. Стали мы, слава Богу, жить по-человечески. Семью одела, обула. Сама приффраерилась. И пожрать всегда есть чего такого вкусенького. Все так и повалило. Сырым-вареным... Только рот разевай.

Ну я и разинула... Но кое-что все-таки успела, “прихвятизировала”. Свой-то дом на сестру-сведенку переписала. Ну и влезла в совхозную квартиру. И “прихвятизировала” ее. Кто успел, тот съел! Вот! Хотела и доходное местечко тоже “прихвятизировать”: устроила туда сестру, сына, отчима. Чтоб все в одну кучу текло...

И потекло, повалило... Я уж надумала хромину отгротать.

Лесу заготовила. Граждане судьи, вы же знаете, что аппетит приходит во время еды... Разыгрался и у меня. Да разгорелись глазки...

Далеко бы я пошла, если б милиция не остановила. Не-кстати меня в “каталажку-то” упекли. Поразмыслила я тут на досуге. И решила во всем сознаться, граждане судьи. А то крайне неловко получается. Неохота мне “в натуре” на лесоповале корячиться, не привычная я к этой работе. Я теперь привыкла руководить больше. Хоть и образования у меня никакого. Из кухарок я. Но в депутатках была, в местных. Еще сам вождь нам наказывал, чтоб у нас каждая кухарка лезла в управление государством... Сбылись его мечты...

Вот я и изнохратилась на доходном-то месте. День там дремлю, на другой дома. Там опять сестра полеживает. Так коротали времечко-то. Все бы ничего. Да изводили меня подношениями-то, да подаяниями. Ну и вошла в раж. Дорвалась. Захотелось жить да поживать на широкую ногу!

Другие-то вон как живут! В особняках, да на иномарках катаются! Все воруют. Засело в мою глупую башку, что и мне можно. Надо, думаю, урвать, пока дерьмократия у власти. Раз такой беспредел начался во всем. Раньше-то, вон при Сталине, за горсть пшеницы могли “десятку” отвалить запросто. А теперь хоть все растащи – никому ничего не надо. Вот я и втянулась в этот водоворот... Надо же когда-то пожить по-человечески!

Граждане судьи! Я еще раз говорю, что чистосердечно раскаиваюсь во всем содеянном. Все как на духу расскажу. Только не лишайте меня свободы. Все отдам. Все драгоценности, все бриллианты раскопаю в огороде...

Только вот многовато мне одной 55 “лимонов”. Делите уж на всех. Ох, как мне неохота в зону... Погибнет моя семья без меня. Они у меня такие смирные. Не выдюжить им без меня. Мужичёшко мой – всегда “язык в попе”... Ни-кому худого слова не скажет. Сынок увалень великовоз-

растный только и смотрит мне в рот. А отвернешься – лень вперед его родилась. Вот доченька не пропадет. Вся в меня – горластенякая. Только вот подкузьмила – мне – в подоле она принесла...

Каюсь я, граждане судьи! А кто нынче в России не крадет? Кто не у власти, да кому нечего. А доброму человеку всегда найдется чего взять. Что плохо лежит. В хозяйстве все пригодится. Да если к тому же за это ничего не будет. Как говорят – “на халяву” почему не взять...

Извините меня, граждане судьи, что я так выражаюсь. Теперь вся Россия на воровском жаргоне “ботает”. Я всю жизнь кухаркой вкалывала. Кто я – рабочий класс или трудовое крестьянство. Что-то не пойму. Хи-хи!

А может я теперь ителлего? Хотя я институтов не кончала, но депутаткой была. И захотелось мне, чтоб и у меня все как у людей было. Тут я у одного умельца-столяра “стенку” приобрела. И как здорово сделана! Не отличишь – книжки как настоящие; а они нарисованные... Ха-ха! И все писатели знаменитые! Классика! Настоящие-то книжки мне и не нужны вовсе. Я в жизни ни одной не прочитала. Вот семечки полузгать, да косточки кому перемыть – это пожалуйста. Или там в “очко” с мужиками поиграть, в карты в смысле. Не откажусь.

Во всем я вам признаюсь, граждане судьи. Даже и в том, чего вам не обязательно знать. И принимайте после этого со мной соответствующие меры... Одно не пойму. И как это я, такая ушлая, могла прошляпить 55 “лимонов”? Теперь вон уже говорят, что не 55, а все 80. Но вы же знаете, что горючее имеет свойство “испаряться”... И всем надо помочь. Раз мне помогают...

Вот и сыграла со мной судьба-злодейка злую шутку. Как говорят – от тюрьмы да от сумы не зарекайся. Мне уж тут и на бобах, и на картах маманька с доченькой ворожили. Все вроде бы хорошо выпадает. Ни дальней дороги, ни казенного дома... Можно было бы и не мандражить. Но

вот кака-то баба все поперек выходит. Не знаю – к чему бы это? А я шибко не люблю, когда мне поперек дороги встают. Бывало, как гаркну на своего мужичёшка. Он у меня как шелковый станет.

На общем-то дворе я все решила и все постановила, полная хозяйка. Видала я всех в белых тапочках. У меня глотка луженая – как заору – уши вянут. Я вначале на коровах тренировалась. Потом меня на людей перебросили. Дояркам тоже не поглянулось, когда я на них возникала. А сами из “мать и в мать”, а туда же. Чтоб не поори на них. Выпендриваются...

Но тут вскоре мне доходное место подвалило. И стала я жить да поживать. Да добра наживать. Как в сказках... Только вот несчастье не кстати приключилось. Прищучили меня. И харей в дерьмо.

Простите меня, граждане судьи! Еще раз я во всем раскаиваюсь! Если в чем и виноватая...

А в уме-то одно крутится: “Да че это я совсем разнюнилась? Перед ментами-то... Их слезами “на понт” не возьмешь. И добра не дождешься. Пока не сунешь...”

А где же вы теперь мои соколики-подельники? Вон сколько их было, вилось да крутилось возле меня, когда я в силе-то была. А ведь среди них есть о-о-очень влиятельные люди. С “лохматой рукой”... Неужто меня они бросят на произвол судьбы. Я думаю что нет. Раз у них нет охоты на нарах париться... Не дадут потонуть! Надо бы их к делу прищучить, пристегнуть... Пусть вытаскивают меня отседова. Ничего... Пробьемся.

Не горюй, кухарка!

Все будет о,кей!

НА ОСТАНОВКЕ

Стоят теплые безоблачные осенние деньки. Горят на солнце золотистые клены. Какая-то до неприличия возвышенная грусть разливается по округе. Любуюсь и впитываю это очарование, ожидая своего автобуса возле кинотеатра «Октябрь». Подходит ко мне незнакомый старичок, опираясь на тросточку. Посмотрел внимательно на меня.

– А Вы не помните, как хотели нарисовать мой портрет? – ест меня глазами старичок.

– Нет, что-то не припомню.

– Да я заходил к одному вашему преподавателю.

И приблизив лицо, зашептал: «Выпить надо было, а одному не хотелось. Вы предложили мне тогда попозировать, а я что-то отказался. Еще Вы что-то интересное тогда сказали, но я уж не помню теперь. Пьяненький был... Я уж 10 лет как на пенсии. 50-ти пошел”.

– По болезни что-ли?

– Нет, не по болезни. Я смрадом заводским дышал всю жизнь. Вот и заработал пенсию пораньше, чем остальные. А с ней хвори все...

– Не в Шаазовском литейном случае?

– А как ты угадал? Точно там. Я еще урвал у жизни десяток лет. Пожил немного... И свободным... И на чистом воздухе... Ты думаешь, почему эпитафии-то висят на доске объявлений? Мужики на фотографиях – один другого сменяют.

Вышел работяга на пенсию и в «ящик». Иной даже пенсию не получит. Другие и не доживают до нее, и мне-то хоть Бог еще десяток лет дал порадоваться. Скоро, правда, 60 стукнет... грустно...

Смотрю я на старичка. А он и верно – одной ногой уже туда, в запредельный мир, в царство Божие направился. Одна кожа да кости. И пиджак висит на плечах, как на

пугале огородном, болтается. Лишь осталось в нем что живое, так это глаза. Еще с любопытством и тоскливой иронией наблюдают за собеседником. В них еще есть тускловатый блеск и живость мысли. Но очень уж вялые и уставшие. Стоит согнувшись, опираясь на тросточку, тяжело дышащий старый морщинистый больной человек. Думаешь, дунет ветер и унесет его точно пушинку. А пока он стоит держась за свою спасительницу, как за соломинку утопающий – за трость, на полусогнутых, дрожащих в коленях ногах. Старое, пыльно-серое, бывшее когда-то черным, а теперь дырявое спортивное трико обвисло, вытянулось на коленях, неумело и грубо заштопано заплатами другого цвета. На ногах черные стоптанные суконные ботинки, хотя холодов еще не было. Видимо, это его единственная, на все времена года, обувь, которую он не снимает даже летом.

– Как, рисуешь все еще? – интересуется старичок.

– Рисую помаленьку.

– Рисуй, рисуй. У тебя это хорошо получалось. Я тогда видел. У тебя правдивее всех портрет выходил. А сколько тебе лет уже стукнуло? Ты тогда молодой был. Моложе всех. Симпатичный такой, с маленькой русой бородкой. А теперь звон какая борода выросла. Но ничего, тоже красиво, хоть и седая уже.

– Мне-то? Да вот скоро полста подскочит. Через годик.

– Немного еще. Тебе надо еще лет десяток порисовать в полную силу. Ты способный. Не бросай.

– Мне вон пятьдесят-то было, дак я тут к матане к одной побегивал еще. От жены-то. Молодой был, казалось. Недавно хозяйку свою схоронил. Теперь один маюсь... Да еще эта свистопляска по России началась. Каждый урвать старается... Неразбериха...

– Да, тяжеловато стало жить. Некогда творчеством-то заниматься. Все какие-то заботы другие. Но бывает, по выходным иногда поработаю немного. Найдет блажь. Но

редко. Помоложе-то был, так чаще выкраивал время на рисование. Да и желание большое было.

Бывало на целый день уберешься из дому на природу и пишешь этюды. А сейчас я совсем редко бываю на воле. Если бы на службу не ходить. Но тогда на что жить? Картины никто не покупает. Я сейчас тоже на заводе работаю. Уж 10 лет скоро будет. Тоже отравой дышу. Болею часто.

– Вот то-то и оно, что гробим себя, свое здоровье и талант... У кого он есть. Все коту под хвост ради несчастной подачки на кусок хлеба... А потом подышаем, как сабаки, под забором.

Старик еле перевел дыхание. Закашлялся.

– Ну, ладно, я пойду тихонько, а то что-то нерадостные мысли появляться начали.

И он поковылял, прихрамывая да переваливаясь, опираясь на трость. Но поравнявшись с таким же пожилым человеком, как он, остановился. Поздоровался. Видимо, еще знакомого встретил. Подсел рядом на трубу заборчика. Это единственная остановка, где не было ни будки, ни лавочек. Все ожидающие сидели на трубе, вместо скамейки.

Я тоже решил посидеть. Подошел к ним. Что меня подтолкнуло показать старичку фотографии с моих картин? Не знаю. Он еще напоследок сказал мне, чтоб я не бросал рисовать. И чтоб больше портретом занимался. Говорит: «Начни с себя, с автопортрета. Потом сделай портрет жены. И так далее».

И тут я вспомнил, что у меня в сумке лежат фото, где и автопортрет есть и портрет жены. Достал и предложил взглянуть старичку. Он глянул на меня резко, отшатнулся как бы стараясь разглядеть меня повнимательнее. Посмотрел еще раз на автопортрет. Потом опять на меня и удивленный увиденным, онемел. Смотрел, смотрел, долго... Наконец его как бы прорвало. «Как? Уже готовы? Не

успел я произнести мои пожелания Вам, а картины уже сделаны. Вы что ли волшебник? Что я задумал – все уже сбылось? И так быстро».

– Да, волшебник! – отвечаю.

– Вот это здорово! Прекрасные работы! Особенно портрет жены! Давай дальше. Еще есть?

И я подал ему остальные фотографии, где были еще портреты и пейзажи с натюрмортами. Я столько хвалебных эпитетов за всю свою долгую жизнь не слыхивал ни разу.

– Вот это здорово!!! О, красота-а!!! Божественно!!! Ну, молодец!!! Продолжай в том же духе!!!

Тебе теперь надо до 80 лет работать и работать! Творить!!! С таким-то Божьим даром! Да ты такое создашь! Навеки оставишь свое имя! Чудесно! Чудесненько! И когда только успеваешь столько сделать?

– Как, когда? По выходным, да по ночам. Больше-то некогда. С темна до темна – на заводе.

– Слушай! Пока я еще живой, мне как-то бы тебя надо разыскать. Как-то бы найти твои «пенаты». Ты где живешь-то? В Погорелке?

– Нет. В Полевой.

– А если я приеду к тебе, ты покажешь мне свои работы?

– Приезжай. Покажу.

– А как тебя там найти?

– Спросишь художника. Все покажут.

– Во, правильно. Не сообразил. С бородой-то вот ты какой приметный. Охота мне твои работы «живьем» увидеть. Да когда я соберусь. Опять вот сегодня подзакосел. Да и доживу ли? Юбилей у меня приближается. Шестидесятилетие... А больше «шаазовцы» не живут...

Старичок как-то сразу сник. Ссутулился. Постоял, посмотрел на меня грустно и, попрощавшись за руку со мной и с соседом, поковылял дальше по тротуару.

А когда он скрылся из виду – еще долго в памяти моей тлела его вихляющая походка и тоскующие глаза.

Он так и не назвал себя. И я что-то не сообразил. Одурманил он меня лестью – восхитительными отзывами. Наяву ли это было? Или пригрезилось? Неужто сам Всевышний в образе этого заскорузлого в коростах старичка явился мне? И поблагодарил за мои труды.

Вот похвалил человек мои даже не картины, а фотографии с них, и стал для меня вроде родного. Я был готов его обнять и расцеловать.

Вот что значит признание.

А через год я открыл в городском музее свою юбилейную персональную выставку, где было более 200 картин, где я услышал много похвал. Сбылись предсказания незнакомого старичка.

Старичка я больше нигде не встречал. Жив ли? Но его эпитеты повторили многие и многие другие посетители моей выставки. Спасибо Вам огромное, незнакомый старичок и все мои почитатели!

“ЗЭКИ”

Как-то сидим у главного художника театра Юдина Юры в мастерской и беседуем на серьезную тему с Сережей Ильиных. О том, как тяжело, в каких муках и сколько стоит пота и крови каждое рожденное из мусора и хаоса то или иное произведение. Это мне больше Сережа внушает. Я только поддакиваю. Я в этом деле ни бум-бум.

Для меня все очень просто. Стукнуло по башке откуда-то свыше, что вот это надо записать. Тут что-то есть сверхъестественное, что это твое и ничье больше. Я сажусь и записываю. А кто-то свыше водит моей рукой по бумаге. Вот так я работаю. И без всяких мук творчества, без пота и крови. Правда, еще раз пять перепишу потом каждый рассказик. Только тогда его в газету посылаю. Но

сколько раз переписываю, столько раз и изменения вношу. Все что-то новое появляется – то слово, то оборот, то новое предложение. И так без конца. Пока не надоест.

Пока Сережа за водой ходил да чай заваривал, Юра Юдин признался в любви к моим рассказикам – бабушкины воспоминания о прошлой жизни. Он прочитал и удивился.

– Молодец, – говорит. Хорошие.

Тут Сережа заходит.

– Вот он мне и сказал, что это твои рассказы, – показывает Юра на Сергея.

– Так я это еще в 1970 году записал со слов своей бабушки... 23 года назад, – отвечаю я.

Тут Сережа подговорился:

– Фольклор.

– Какой фольклор? – протестует Юра. Это бывальщина. Здорово написано.

– Да, – подтверждает Сережа. – Жемчужина, а не рассказы. Тебе надо эту тему развивать. Не пахано. Ты один будешь.

– Как? – недоумеваю я. – А Бажов? Он тоже бывальщину писал. Как в шахтах робили.

– Так что давай, Алексей, продолжай, пиши, – полого так говорит Юра Юдин.

– У меня еще продолжение будет, – вставляю я.

– Мы тут альманах готовим, – это опять Сережа. – Литературно-художественный. Собери рассказиков 10-15 и принеси. Можешь и иллюстрации сделать. В народном стиле – типа лубочных.

– В стиле лубка что-ли?

– Это сложно. Тут надо вроде бы и сатирой владеть, и в то же время с легкой и теплой улыбкой это надо делать. Чтоб не обидеть и чтоб крепко зацепить человека. Некоторые это здорово умеют делать. Подначивать или подковыривать – как у нас называется.

Вот к примеру. Я знаю одного такого человека – Колю Симакова – на пилораме механиком работал. Привезли раз на пилораму машину лесу – надо на доски распилить. Грузчиками были зэки (заключенные). Выгрузили лес. Сидят курят да байки травят. Хвалятся, что у них в “зоне” не жизнь, а “малина”. Все-то у них есть, чего душа желает – и водка, и чай, и наркотики.

Николай Симаков, худощавый, высокий деревенский мужик, лет 60, недавно на пенсию вышел, а все еще работал. Всю жизнь на пилораме. И замены пока не предвидится. Он копается со своими железяками, настраивает на нужную толщину доски. И слышит все, что рассказывают “зэки”.

– А как же вы это все это проносите в зону? – интересуется он. – Водку, табак, чай?

– Водку конвоиры приносят или “вольняшки” – только дай «на лапу». А чай совсем просто. Берешь полиэтиленовый мешок, насыпаешь в него чай и заталкиваешь в задний проход.

– Тьфу, – плюется Николай. И после этого вы его пьете?

– Так чай-то же в мешке, – возмущается “зэк”.

Николай морговито морщится, качает головой и уходит за каким-то болтиком в мастерскую. Принес, привернул. Включил пилораму. “Зэки” все так же продолжают сидеть на бревне, которое начинает дрожать и дергаться от врезающихся в него нескольких пил. Николай кричит, чтоб зэки слезали с бревна, но его голос заглушает работающая пилорама. Он машет рукой, чтоб уходили с бревна. Но “зэки” посиживают и посмеиваются, как дети на бревне-качалке.

Николай подошел, заматерился на них не на шутку. Бревно уже почти наполовину было распилено и конец его сильно подпрыгивал. Все нехотя слезли. Но один все-таки продолжал сидеть; который очень уж расхваливал свою жизнь

в “зоне”. Он едва удерживался на прыгающем бревне.
– Ну ты, чучело гороховое, – подходит к нему Николай.
– Тебе что сказано – уйди! Жить что ли надоело?
– А че? – как будто ничего не понимая, удивляется “зэк”.
– Уйди, я тебе говорю, а то как звезданет по жопе-то. В чем чай-то таскать будешь?
Остальные “зэки” загоготали.
Вот такой рассказ-бывальщина – подвожу итог я.
У Сережи на лице никаких эмоций. Юрий тоже промолчал.
– А что, запиши. Может что и выйдет, – будто вспомнив обо мне нехотя произносит Сергей.
И почти без всякого перехода:
– И кто бы меня пельменями накормил?
Громко заявляет он и потягивается. И при этом громко чихает два раза подряд. К чему бы это?

ДА, ДЕЛА...

Бегу по городу. Встречаю Манакова Леню – художника с его женою. Он когда трезвый бывает, и когда «бухой» – всегда с ней вместе прогуливается. Важно так. Не торопясь. Как будто выгуливает свое тело. Дефилируют одним словом.

Он когда трезвый, то как всегда не шибко разговорчивый. А когда один идет, то уж обязательно «под балдой»... И пристаёт, как банный лист: «Давай, Алексей, с тобой организуем свою художественную школу! Ты будешь директором. А мне нельзя, – и щелкает пальцами, и показывает на горло, – ...увлекаюсь. А ты вон какой стойкий. Давай, а? Утрем нос той мымре...».

Он пропускает жену вперед. Она не останавливается, идет дальше в том же спокойном ритме. И не оборачивается. Он протягивает мне руку, прощаясь.

– Как жизнь? – спрашиваю его.

Он без ответа говорит: «Будешь в Кургане, забеги на мою выставку». И важно подняв подбородок, как бы указывает на далеко ушедшую жену. Но ему хочется поделиться своим событием и он продолжает:

– Да, вот пробил на область свои работы, – уже на ходу бросает он многозначительно...

– Перспективы-то какие? – кричу ему вдогонку.

– Работа, творчество, – на ходу отвечает он. – Скоро, наверное, буду членом... Союза... Извини, дела...

– Да, дела... – протяжно проговариваю его слова. И это называется поговорили. Пообщались.

Встретились два художника. Люди уже в возрасте. Обоим за пять десятков перевалило. Оба творчески продолжают работать, выставляться. Казалось бы, что у обоих так много общего... Такие вот мы люди...

А поговорить не о чем... Да и некогда... Дела... Уж шибко деловые...

Захожу как-то в гастроном «Чайка». Смотрю – опять борода знакомая. Это опять он же – художник Леня Мананков. Нас с ним часто путают – мы оба блондины и очень похожи. Он, как всегда навеселе. Значит, долго будем беседовать. И я не спешу. А то он спешит... Или я. Никак не можем толком поговорить. Все на ходу – парой фраз перекинемся и дальше по своим делам.

Выспрашиваю у него – как же это он смог пробить себе персональную выставку в Областном художественном музее. Он рассказал, что обратился к директору музея – Анатолию Львову. Оказался мужик, понимающий художников. Поставил его на очередь. Потом к Бритвину – на счет автобуса. И повез. Двадцать семь работ выставлял – к пятидесятилетнему юбилею.

– Я сейчас в пятнадцатую школу перешел, – рассказывает Леня. – Из тринадцатой-то. Из Осеевой в Хлызову. Давай тоже устраивайся в осеевскую школу. Рублей эдак на триста! Двенадцать часов это. – Ты знаешь, – улыба-

ется Леня. – Мне тут пришлось твой портрет рисовать. С твоего каталога, выставка у тебя была в нашем музее! А у нас в школе учителя решили провести твой творческий вечер. По твоей прозе.

Я на миг замер. Ошалел от такой информации. Моргаю часто. Верить или не верить?

– Как? Мой творческий вечер? Я же еще живой... Хотя и хворый. Я вон в седьмую школу и в четырнадцатое училище для оформителей таскал картины в обеих руках. Да керамики полную сумку. Меня туда приглашали, чтоб ученики увидели живого человека, а не мертвый портрет, хоть и ты его нарисовал. Да не с натуры, а с фотографии. Во дают! Ну и придумали! Для галочки что ли? Я же живой, – колочу себя в грудь. – Вот он я! И ты ничего им не сказал?

– Мне дали задание, – начал оправдываться Леня. – Я и нарисовал.

– Но это же абсурд! При живом человеке делать такой вечер, если я вот он, рядом! Я бы что-нибудь рассказал ребятам, стихи бы свои почитал или мини-рассказики о природе. Не понимаю...

– Слушай, Алексей, – как бы стараясь загладить неприятный разговор, Манаков переводит его на другое. – Давай, я тебя нарисую с натуры! Нет, лучше напишу тебя маслом! Как отца Игоря. Я их всех больше по памяти изображаю. Я все очень быстро схватываю. Приходи в пятнадцатую школу. Договоримся потом. Ну, пока... Спешу... Дела...

И мы разбегаемся...

Вскоре он уехал из нашего города, и я даже не знаю куда...

КАК ВСЕ?

Возвращаюсь однажды с работы, а знакомый догнал меня и заводит такой разговор:

– Ты знаешь, я почему-то решил тебе признаться, что я давно уже мертвый хожу, живой труп, умер почти... Вот так и живу... Из дому на работу, с работы домой – и так каждый день. Все ужасно надоело, а что поделаешь. У меня уже никаких стремлений не осталось, никаких целей и никаких идеалов...

А вот ты человек творческий, у тебя есть цель – творить. У тебя главное произведение не написано, поэтому у тебя есть стремление и смысл в жизни. Понял?

– А у других людей как? Все мертвые что ли? – спрашиваю его.

– Да, в основном мертвецы.

– И весь мир.

– Нет, в других странах у людей есть цель – бизнес, а нам все никак не дают развернуться, давят и давят. Вот мы и пьем, заливаем раздавленную душу. А для себя нам не дают пожить без принуждения, чтоб работа в радость была.

– Но нас как учили жить? Что надо делать все для Родины, все силы отдавать на благо процветания нашей дорогой и горячо любимой Отчизны, не жалеть ни крови, ни самой жизни!

– Так оно, учили... Запудрили нам мозги крепко. А толку? Оказалось, что все не так, что это нам «лапшу на уши вешали». Оказалось, что кто-то там пользовался нашим трудом и живет теперь припеваючи, как при коммунизме... А мы батрачим на них.

– На кого это?

– Да, на эту, как ее – партократию или бандократию. Все едино. Хорошо хоть ее сейчас разгоняют. Но и кроме их полно заразы... Видимо, мы были, есть и будем все-

гда рабами. А при рынке – на мафию будем горб гнуть, или на другого хозяина. Но ты-то не будешь, ты образованный; а мы кто – неучи одни.

– Ты не прав. И я такой же раб, как и ты. Нас так воспитали, чтоб подчинялись беспрекословно... А чуть что не так – сразу по мозгам... То ли приказом-указом, то ли инструкцией-распоряжением, то ли выговором да увольнением... А то и психушкой да тюрьмой, если свое мнение имеешь... Чтоб другим не повадно было. А другие-то вместо того, чтобы против сказать – рукоплещут и выдвигают – им так легче выжить...

– Это ты точно подметил. Сразу видать, что грамотный, не то что мы. Соображаешь, не зря тебя в институте учили.

– Извини, но этому там не учат, этому жизнь научила...

– Это верно, жизнь научит.. А это правда, что ты мой новый дом нарисовал?

– Правда.

– А можно посмотреть? Может я куплю у тебя эту картину.

– Пожалуйста.

Заходим ко мне в гости. Попили чаю. Показываю картину с его домом.

– Хорошая картина, – любитесь знакомый. – Мне понравилась. Куплю. Пусть дети смотрят – какой им отец дом отгрохал. Все равно я, наверное, скоро умру... У-у-у, как много у тебя картин. Ты можешь миллионером теперь стать – только продавай.

– Увы, никто не покупает... Поэтому я также, как и ты, обязан ходить на работу каждый день, вместо того, чтобы творчеством заниматься. Такая у нас система...

– Вот и поговорили. Ты никому не продавай мою картину. Договорились? Ну, пока.

– Пока.

На завтра знакомого встречаю после работы.

– Как день прошел? – спрашивает. – Какие в жизни улучшения? Лучше-то хоть стало, нет?

– Нет, – отвечаю. – Только хуже. Жена все болеет. Какие там улучшения. Опять вот в больницу в который раз положили. Ты же знаешь, что с ней два года назад произошло?

– Да-да, ни за что изувечили. И что, все не могут найти никого?

– Нет.

– Вот так в бездну катимся. Люди как звери стали. И нет ничего святого... Кругом один дефицит. Вот и успевают хапнуть, готовы друг у друга из глотки вырвать. Дикость и уголовщина. А иная серость возвысится на какую-то копейку, стоя за дефицитным прилавком или престижной должностью, а выкобениваются на червонец, представляют себя начпупсом...

Социалистический лагерь превратился в сплошной гулаг. Посмотришь вокруг, на физиономии написано – это бывший “зэк”, а это будущий, потенциальный...

Неужели это от рождения заложено? Или нас так государство воспитывает? Среда, обстановка, время, пример родителей – все влияет, конечно.

Но главное, я считаю, то, что мы не свободны, что мы подневольны, что мы рабы.

И психология наша рабская, а отсюда – и дикая... И бескультурие, и бездуховность.

– Короче – зверей в нас воспитывают, чтоб грызлись что ли? – поддерживает мысль знакомый.

– Да, верно. А самые озверевшие из рабов – уголовники; они всех и вся ненавидят за то, что раздавлены беспределом наших и своих лагерных законов.

– И на воле-то законы стали какие-то лагерные – чуть кто власть заимел – вот корчат из себя «паханов», и чтоб все перед ними «на цирлах» ходили б, а не то в порошок сотрут, – добавляет мой спутник. – А я вот почему-то ни-

кого не боюсь, заявляет он. – И никого не люблю – ни тебя, ни жену, ни начальников. Мне одна дорога – в могилу. Я уж и так мертвый хожу. Нет у меня цели... А у тебя есть – ты творческий человек. Что-то все думаешь – ходишь, размышляешь. Я вот выпил сегодня. Заметно, нет? Хотя хозяйка у меня ушлая, все равно вычислит и узреет, – ухмыляется мой собеседник. – Ты на меня не обращай внимания. Много могу всякого наборонить.

– Почему наборонить? Ты тоже разумные мысли высказываешь. Не зря говорится в пословице: «У кого что болит, тот о том и говорит».

– Да-а, я только так, по пьяне больше болтаю, когда выпью – лезет в башку всякая дребедень. Вот, например, если я начну воровать тоже, как там «наверху» дачи делают, да строить второй этаж к своему дому – люди-то что скажут: «Вот умеет человек жить – все достанет и руки у него золотые – все сам, своими руками сделал». А другие – завистливые – за spletничают: «Нигде ничего нет, а у него есть, не иначе как ворует или с мафией связан».

... А потом придут дяди в черном да и вытряхнут из своего дома, как деда моего; и все мои труды пойдут прахом. И дом кому-то достанется, а не наследнику-сыну, ради которого все дело со строительством затеял.

– Ну как, берешь картину со своим домом? – вспомнил я о вчерашнем разговоре.

– Какая там картина, жена ругается, что опять пьяный прихожу, а если еще про картину заикнусь – вовсе из дому выгонит, за картину-то надо хорошо заплатить, а у нас теперь не лишка деньжонок-то, тем более что все дорого стало. Так что извини, дорогой, пока не могу.

Остановившись неожиданно, мой знакомый повернулся ко мне и, внимательно посмотрев в мои глаза, пытается что-то прочесть в них, сказал с добрым участием:

– Но я вот почему-то жалею тебя. Барахтаешься ты, барахтаешься и никак не можешь выкарабкаться из этой

тины... То одно, то другое... А вроде человек грамотный. Я опешил от неожиданного участия в моей судьбе.

– Да-а, - растерянно протянул я. – Наблюдательный ты, оказывается, человек. Приходится булькаться... Кругом одни наблюдатели...

– Все верно. Живем все поодиночке, да друг за другом наблюдаем – как бы кто лучше тебя не зажил. Вот и барахтаемся по одному да вином заливаем свои невзгоды – одна утеха осталась – забыться на миг, не помнить, не видеть всего кошмара, к которому жизнь пришла... А те, что «наверху» – те умнее нас с тобой поэтому они стаями живут... По волчьим законам. И уголовники также...

– Да, нерадостная картина вырисовывается. А за то, что ты меня пожалел, спасибо тебе, не такой ты уж бессердечный, как сам на себя наговариваешь. Еще раз большое тебе спасибо.

– Не за что. Вот подумаешь – невидаль какая – человека пожалел. Если бы помог – тогда другое дело, а тут всего-то – пожалел да и только. Ерунда какая.

– Нет, не ерунда. Может мне от этого барахтаться легче будет. А может и вдохновение придет... Вот увидишь... А может мне бросить все творчество к чертям собачьим и не барахтаться, а жить как все? А так – как все – как ты, как другие? – задаю вопрос то ли ему, то ли себе...

– Как, как все? – не понял он. – А кто творческим человеком будет? Я что ли? Нет, нет, я уже мертвый давно хожу...

ЧЕРНОБЫЛЬ НАШИХ ДУШ

Подходит ко мне в центре один из многих шадринских самодеятельных художников, я его даже не знаю как звать. Знаю, что он работал на заводе художником-оформителем. Завод развалился со сменой строя; он стал предпринимателем. Делает красочные бумажные венки

на могилки. Часто вижу его на рынке, где продают эти вечночки к родительскому дню.

Пожал мне руку и поблагодарил за мою выставку в краеведческом музее.

Только он отошел, смотрю – бежит Валера Рожков – мой бывший ученик в художественной школе. Теперь – главный архитектор нашего города. Закончил архитектурную академию в Свердловске.

Я как-то заходил к нему в отдел архитектуры, а его не было. Жена Вера там же работает. Сказала, что он в отпуске.

– Привет.

– Привет. – обнимаемся с Валерой. – где-то не видно тебя, где-то отдышал?

– В Турции, - отвечает. – Да заболел, простыл там.

– Это в солнечной-то стране?

– Да... Перекупался, видимо. Да еще вода морская попала в ухо. Разъело что ли... Вот подлечусь, заходи на работу ко мне.

Он несет в полиэтиленовом пакете десяток свежих картошин. Соскучился, наверное, по русской еде после экзотической Турции.

– Ладно, зайду, – и разошлись.

А в моей голове зашевелилась вновь итоговая композиция Валеры – «Хиросима». Я во всех деталях представил ее и дома написал рассказ «Чернобыль наших душ». Эту композицию он выставил как итог всего обучения в художественной школе. Там были нарисованы бегущие на зрителя люди. Кто в чем. Почти как у Гуттузо – итальянского художника – «Бегство с Этны». И общий ужас... И страдание... И всеобщая катастрофа...

На фоне этой толпы возвышается распятый Христос.

Я показал работу Валерия своим преподавателям. Они посоветовали убрать Христа. То был 1977 год... Всей идеологией правила Коммунистическая партия. Про религию было нельзя. Табу. Христос для коммунистов враг. Чужой.

Хотя моральный кодекс строителя коммунизма был почти скопирован с Библии... На картине Валерия бегство народа было от идеала, от Христа. От веры, от надежды... И это была именно вселенская катастрофа...

И как это мог осмыслить (может интуитивно?) молодой, лет шестнадцати, паренек в то далекое, почти двадцать лет назад, еще совсем советское время. Лично я тогда еще верил всему, что говорилось и писалось в прессе.

Я объяснил Валерии, что педагоги предлагают убрать Христа. Он согласился, потому, как с Христом его работу не пропустят. И убрал...

И это я только сегодня, в 1996 году, очень верно предсказал, что потерялся весь замысел картины. У людей остался один страх...

Это было всеобщее бегство от Веры, от Христа. Это была неостановимая катастрофа. Итоги которой мы теперь пожинаем... Мы все с вами вместе взятыми бежим до сих пор... Он, Валерий, как будто предвидел этот «Чернобыль наших душ», на котором осталось одно пепелище – души наши выгорели...

Он, видимо, и предвидел тот, настоящий технический Чернобыль, который произошел через десять лет после его предчувствия. А еще через десять лет мы только-только поняли, а вернее – начинаем понимать – что же это произошло... Наши души утонули во мраке, убежав от мирового идеала, от Сына Человеческого – от Иисуса Христа...

Только теперь мы начинаем пожинать все плоды того бегства... Той катастрофы... Того Чернобыля наших душ...

Где-то в году 1985-м Валерий после окончания архитектурной академии приехал в свой родной город. Его назначили главным архитектором. Мы встретились. Я покаялся, что был не прав в отношении его итоговой композиции в художественной школе, что согласился с преподавателями.

Он ничего не ответил на это...

ВОПРОС-ОТВЕТ

Многим шадринцам знакомо творчество художника и прозаика Алексея Андреевича Мехонцева. Его живописные работы не очень давно были представлены на персональной выставке в краеведческом музее. Там же можно купить его первую книгу прозы «От капели до капели», созданную по впечатлениям от родной зауральской природы. Думается землякам интересно узнать, над чем сегодня работает Алексей Андреевич. Что его волнует? Каковы планы. Мы пригласили талантливого земляка в студию. С ним беседует В.М. Платоненко, автор предисловия к его первой книге.

1-й вопрос, А.А! Каждый автор обычно, выбирая для себя определенный тип героя, создает о нем не одну книгу, а несколько, также целые тетралогии (например, Н.Г. Горин – Михайловский)

В Вашей 1-й книге в основном лирический герой в природе, в процессе ее осмысления, в процессе художественного творчества. Продолжаете ли Вы работать над таким героем сейчас?

Ответ: Да, но реже. Тему природы и лирического героя в ней оттесняют другие задумки. Чтобы пропускать через сердце взволновавшие тебя явления в природе, необходимо внутреннее уединение, отвлечение от быта. Еще необходимо душевное равновесие. А его трудно сохранить в наше время, из-за разрушающего все и вся урагана жизни, из-за озверевшей в припадке алчности новых русских (и других прочих), что появились тут и там...

Все видишь... Почти невозможно быть спокойным. Страшно жить в таком окружении... А на природе быть у меня теперь меньше возможностей, чем раньше. Поэтому и появились такие рассказы как "Гармонист", «Жестящик», «Трясучка и голоса».

2-й вопрос: А.А.! В рукопись, которую Вы сейчас готовите к печати (с иллюстрациями), войдут, видимо, рассказы о родных поколениях шадринцев, в чьих судьбах отразилась общая судьба России, история Шадринска и прилегающих к нему деревень. Если да, то это очень кстати – своеобразный подарок к дню города.

Ответ: Действительно, там будет несколько рассказов о людях старшего поколения – цикл рассказов моей бабушки – «Все пережили». Но будут отражены и судьбы моего поколения. Например: «Телеги брякают», «Трудные годы», «Юбилей», «Хлеб убирали», «Цвела черемуха», «Портрет на фоне весны» и др.

3-й вопрос: А.А.! По моему Вы к Дню города готовите еще очень милые подарки, если судить по той керамической игрушке (свистульке), что мы от Вас получили в подарок.

Ответ: Да, по заказу Центра русской культуры я изготовил разные игрушки, которые как раз предназначены специально к Дню города. Можно будет приобрести как сувенир. Некоторые мои работы шадринцы уже видели на выставке в центре русской культуры «Лад» к Пасхе. Они также были показаны по шадринскому телевидению. Даже газета «Исеть» откликнулась, правда, увидев, там одних поросят...

4-й вопрос: Керамика – это традиционный промысел для Шадринска? Или нет? Вот недавно был радиочикл о шадринских деревнях, их промыслах. Вели его И.М. Гаев и В.К. Перунов. Там я как-то про свистульку не уловила.

Ответ: Свистулька мне запомнилась в далеком послевоенном детстве. Когда в деревню приезжал “реможник” – собиратель вторсырья. Мы, пацаны, несли ему ненужное тряпье, а взамен получали свистульку или яркий воздушный шарик. Чему были несказанно рады. На следующее утро раным-рано со всех концов деревни раздавались наши «соловьиные трели».

Недавно с центром русской культуры «Лад» посетили деревню Ганино, которая всегда славилась мастерами гончарного ремесла. Нашли все-таки одну бабуся, которая работала в гончарной мастерской. Она нам кое-что рассказала. Как работали, где глину брали. Как мастер разбивал все ее изделия. Поревела она, пока не стала отличной мастерицей. По 30 корчаг за смену делала. Она подарила нам одну старую корчагу (в ней она пиво варила). А свистульки дома делали. Но теперь промысел давно закрыт. И никто не занимается. Интересно бы увидеть старинную свистульку.

5-й вопрос: А как с базой для возрождения тех же свистулек, к примеру?

Ответ: Я уже специализируюсь на этом деле. Сделал несколько вариантов образцов. Сам фантазирую, изучаю «дымковскую» и «филимоновскую» игрушку. Осталось запустить в серию. Сейчас брожу по оврагам. Ищу подходящую мне глину.

6-й вопрос: Наверное, можно сделать такие игрушки прибыльным производством, если как-то отразить в них специфику Шадринска?

Ответ: Вопрос о выживании сейчас один из первых. Поэтому, видимо, и вспомнили о древних промыслах. Но и художественный интерес у меня к керамике всегда где-то в глубине души теплился. И вот дождался своего часа. Над шадринской тематикой я не думал. Больше работаю в традиционной теме – это домашние животные и птицы, но больше фантастические. Делаю то, что мне нравится. Работаю с увлечением, может это найдет своего почитателя и потребителя. Проблем кроме, тематики много еще. Первая: желательно бы изготовить свой электрический гончарный круг. Вторая: и приобрести бы печь для обжига. Третья: да найти разные красители для керамики и глазури.

Без финансовой помощи, конечно, одному не подняться. Также как и книгу не напечатать, не издать, нужны спонсоры. Но где они? Ау! Откликнитесь! Помогите!

НА КОЛОКОЛЬНЕ

После того как мама сводила меня в детстве к бабушке несколько раз, а та, пошептав, опрыснула меня водой, облака в виде разных великанов и огромных фантастических зверей стали совсем нестрашными. С тех пор я подолгу рассматриваю их, сидя на крыше своего саманного домика. И забросил эти занятия совсем, когда поступил в Шадринский автомеханический техникум. Не до этого стало. Надо было много и упорно учить по разным предметам. Там мы изучали больше технические науки. Там места божествам не оставалось. Учились мы в бывшей Николаевской церкви (теперь действующая церковь, в которую иногда захожу и ставлю свечку Богоматери).

Приходила весна, а с ней и сессия – надо было готовиться к экзаменам и сдавать всякие науки: электротехнику с физикой, высшую математику с тригонометрией, сопромат с механикой, металлорежущие станки с технологией инструментального производства и многое другое. На литературу и историю внимания почти не обращали.

Мы с ребятами из “общаги” (общежитие во дворе техникума) заберемся на колокольню с учебниками и конспектами. Все честь по чести. Думаем, что будем учить уроки...

...Хрущев развенчал культ личности Сталина. Клич – на целину! На ударные стройки Сибири! Страна сдвинулась с оседлого образа жизни. Молодежь едет искать романтику и лучшую долю...

Никто не хотел оставаться в деревне.

Жизнь для нас только начиналась. Мы были бессовестно невежественны и глупы от своей молодости. Ничего не знали и знать не хотели. Свобода для нас означала быть одетыми по моде. Это узкие брюки, которые мы сами перешивали. Клетчатые пиджаки и полуботинки на платформе. Да еще галстучек – какой поцветастей и еще луч-

ше, если с пальмами... Или пластмассовый, на резиночке. И, конечно, танцы под джазовую музыку, от которой мы просто балдели.

*Джамбул Джамбаев
Стилягой стал.
Свою бандуру
На сакс сменял.*

Такую мы пели под аккорды гитары популярную тогда частушку. Мы по нескольку раз ходили на иностранные фильмы в клуб «Красный пимокат». Особенно на американские. Такие как «Серенада солнечной долины».

В техникуме была своя джаз-банда – эстрадный оркестр. Квартет или октет. Гитара бас, гитара соло, ударник и аккордеон (саксофона не было). На вечерах отдыха по субботам танцевали под музыку оркестра или под самодельно записанную на рентгеновских пленках джазовую музыку. Изгибались и дергались в такт джазовым негритянским ритмам. Провожали девчонок до дому. Дрались из-за них с городскими.

*Бомбы рвутся в штате Невада,
Бомбы рвутся под землей,
Негр кричит: «Войны не надо!»
«Войны не надо!» – кричит ковбой.*

Это были шестидесятые годы...

Гитарные аккорды, бряканье ладонями по столу в «общаге» техникума (в подвале), да хрипло-звериные вопли в такт мелодии заменяли нам порой целые джазовые оркестры. Мы сами по себе были оркестром-исполнителем и слушателем одновременно.

Ко всему этому мы любили свою учебу, отдавались ей честно и самозабвенно. Готовились к экзаменам всегда

группой. Проверяли и перепроверяли друг друга, чтобы знать все вопросы по билетам, чтоб сдать на стипендию наверняка. Матери, конечно, помогали, чем могли, то продуктами, то деньгами. Но сдать на стипендию – это была наша честь.

Сидим мы на колокольне, отложили пока конспекты в сторону. Науки нам пока не идут в голову. Сначала полюбуемся, поглазеем с верхотуры на панораму Шадринска. С колокольни открываются чудесные виды на окрестные пейзажи, на Исеть с лугами-релками, с полями и пашнями, с березовыми перелесками да дальними деревеньками – откуда мы родом, где остались наши друзья детства, наши родители, наши родимые места и наш отчий дом. Повздыхаем, повспоминаем, да за науки примемся.

– С Богом! – как бы сказала моя мама...

Один раз сидим на колокольне, под вечер уже. Тучи надвигаться стали. Синие-пресиние. Аж до черноты. И громыхать начало. Засверкало уже вокруг колокольни. Мы будто ошалели от этого наэлектризованного воздуха или от счастья быть молодым, или от этого пронзающего и очищающего тебя небесного света. И как расколется почти над самой головой, как даст, даст, что аж присядешь от страха. Так бабахнет, что думаешь – ну все, сейчас при следующем ударе колокольня развалится.

Мы что-то кричим друг другу, но наши голоса растворяются и тают в этом черном, распоротом молниями небе, в этом грохочущем мире, в этом шуме беспросветного ливня, в этом чуде и аде...

Серьезный был тогда разговор у Всевышнего с нами – юнцами – антихристами, безбожниками. Он пытался нас вразумить своей величественно-божественной стихией. Только мы этого тогда так и не поняли. Может просто не хотели ничего понимать. Мы были запрограммированы... На молодость... Мы хотели стать хозяевами своего положения. И не сдавались. Поговорили на равных...

...Шла хрущевская оттепель. Народ немного воспрянул духом. Но не надолго. Система оставалась прежней...

САПОГИ СТАЛИНА

Днем в общежитии техникума никого не найдешь. Все на занятиях. Зато вечером – настоящий шалман был:

*И фиксы блеск,
И челки воровские
Нахально сдвинуты
На блудные глаза!*

Где все перемешалось – и город, и деревня, и блатные «ботающие по фене» и поклонники иностранщины – клифтов, джаза, музыки на рентгеновской пленке-ребрах.

В шестидесятых, при Хрущеве, начались амнистии. В городе процветала приклатненно-уркагановская мода на поведение, на песни, на одежду. Носили кепки восьми-клинки с козырьком в один палец, а наверху пипочка-на-хлебничек. Полупальто-москвичка из верхней одежды. На ногах сапоги, большие кирзовые. У самых модных – хромачи, но не гармошкой, а с прямыми голенищами.

Приходили с занятий и падали на свою кровать прямо в сапогах – это считалось верхом независимости и шика, хотя за это могли выгнать из общежития, если увидит кто-нибудь из больших шишек – комендант или сам «АХЧ».

Самым любимым инструментом была гитара. Не было человека, который бы не научился на ней бренчать хоть одну песенку. Я тоже пытался брать несколько аккордов, но не на слух, а по памяти – запомнил куда надо ставить пальцы и напевал иногда:

*Оля сорвет василек,
Низко головку наклонит.*

*Милай, смотри василек
Твой поплывет, мой потонет...*

Или вот другую:

*Еду я в вагоне мягком,
Кондуктор нажми на тормоза,
Я к маменьке родной,
С последним приветом
Спешу показаться на глаза.*

Вот на таком фольклоре мы и воспитывались. Нетрудно догадаться, что из этого получалось. Каков духовно-культурный уровень специалиста среднего звена. Книжек художественных почти никто не читал, за редким исключением. Разве что Леха С. и Витя К.

У Лехи была большая голова, но сплюснутая с боков. Его звали «полтора затылка» вначале, а потом приклеилась кличка «Кузя».

А Витю звали «Васей». Может потому, что он всегда вращался в кругу девчонок. Вечерами любили ходить в столовку финансового техникума (сейчас физкультурный колледж), там были самые дешевые обеды. За тридцать копеек можно было взять полпорции супа, котлету и компот. Это был очень приличный обед. Так питались только очень денежные ребята, у кого родители были «шишками». А кто сидел часто «на мели», то обычно довольствовались кабачковой икрой по сорок две копейки, или селедкой с булкой хлеба по шестнадцать копеек. Такого обеда хватало на три-четыре человека.

«Общага» находилась в подвале. А наверху учебные аудитории. В комнате стояло двенадцать синих кроватей с коричневой тумбочкой на двоих. И длинный коричневый стол. На нем зеленый чайник с водой.

В окна мы видели только ноги прохожих. Потолок доста-

вали рукой. Висело две лампочки. Вот и вся немудреная обстановка. Да еще коричневый шкаф для пальто. Булку с кабачковой икрой съедали мигом, запивая водой из рожка чайника по очереди. При виде хлеба народу присоединиться «на халяву» прибегало много.

Особенно нагтели парни старших курсов. Вначале мы пытались привозить продукты из дома. Но это все ментально расхватывалось и разлеталось. Такую ораву никогда и никому не накормить. Было три комнаты – вот тебе сорок восемь человек. Вечером такой гам стоит, друг друга не слышно. Да и светили лампочки тускло. Наверное ватт по сорок были. Поэтому мы, первокурсники, решившие учиться добросовестно, то есть сдавать на четверки и пятерки, чтобы получать стипендию, брали конспекты и уходили учить уроки куда-нибудь в свободную аудиторию. Одной и той же компанией.

Два окна в нашей комнате выходили в сад между зданиями. В центре его стояла на пьедестале скульптура Сталина в рост, выкрашенная серебрянкой.

По весне яблони благоухали, дурманя и так дурные головы наши. На танцах в общежитском коридоре знакомились с девчонками с младших курсов. Танцевали под радиолу, на которой крутились рентгеновские пленки с записями фокстротов и танго. Вальсы почти никто не умел танцевать, кроме опять же «Вася». Он один летал по коридору с кем-нибудь из девчонок и блаженствовал.

Проскакивала весна. Приходило лето. На «носу» была сессия, сдача экзаменов. Но мы выбирали иногда теплый денек, чтобы поваляться на теплой траве, позагорать на речке Исети пестрой и шумной ватагой, подышать свежим воздухом. Пройдя по деревянному мосту с гитарой, конспектами под мышкой, мы располагались где-нибудь отдельной группой и загорали, и купались. Тетради лежали рядом нераскрытыми до самого вечера.

Прошла уже авария на Челябинском «чернобыле» (то

есть на «Маяке»), но нам об этом не говорили. Мы ловили раков, жарили их на костре, ели. Один раз у тех ребят, которые родом с речки Теча проверяли кровь. Почему это делали, тоже не говорили. У некоторых ребят во время занятий кружилась голова, но фельдшер объясняла это переутомлением от занятий или от недоедания. И мы верили. Мы были молоды, глупы, полны оптимизма, что жизнь прекрасна, что молодость вечна. Влюблялись и терзались от безответной любви. В теплые весенние ночи простаивали в благоухающем саду до самого утра.

Один раз услышали рокот и дребезжание стекол. Выглянули в сад и обомлели – рабочие обвязывают туловище Сталина стальным тросом. Думаем – что же натворил он, вроде не буйнил, стоял смирно, никому не мешая, даже влюбленным. Но все равно мы его стеснялись почему-то. Он будто бы подсматривал за нами. Не делаем ли мы чего предосудительного, запретного. Как наши перволюди – Адам с Евой... В то время такой дикой пропаганды секса не было, но мы, семнадцатилетние, знали все... И откуда дети появляются. Поэтому на всякий случай прятались от взгляда Иосифа Виссарионовича куда-нибудь в уголок погуще и потемнее.

В этот раз мы во все глаза удивлялись такому вандальному и решительно бессмертному поступку работяг. Обмотав Сталина и прицепив трос к огромному трактору С-100 (Сталинец – 100, наверное, мощностью сто лошадиных сил) рабочие махнули рукой. Трос натянулся, Сталин закрипел (но не зубами), затрещал его китель – бетонный, посыпалась серебряная краска с его усов. Связанные руки были беспомощны сопротивляться. Трактор еще поднапрягся и монумент с грохотом рухнул на землю. Утащил волоком трактор «Сталинец» товарища Сталина. Осталась глубокая борозда...

Белый яблоневый сад продолжал цвести и источать ароматы. Посреди сада, на пьедестале, еще долго торчали сапоги Сталина...

Вечером к нам в комнату прибежали девчонки из женского общежития, окна которого тоже выходили в этот сад. Ребята чаще ходили в гости к ним через эти окна, а они на это не решались. Объявили, что будет проверка чистоты самим «АХЧ»! А не какой-то там комиссией из девчонок. Хотя и эти девчонки были не в меру придирчивы и не уступали «АХЧ» ни в чем. Эти же девчонки и оповестили нас. Мы начали мыть полы, вытирать пыль, заправлять кровати, расставлять тумбочки. Чтоб все было как по линейке. Иначе достанется всем. Особенно дежурному по комнате.

«АХЧ» вкатывался в комнату первым, руки за спиной. За ним толстушая в два обхвата баба – комендант. Мы рассаживались вдоль стола и раскрывали учебники, искося наблюдая за происходящим.

Он пошевеливал маленькими волосистыми кистями рук с цепкими, холеными пальчиками, с аккуратно заточенными ногтями-коготками. Приказывал дежурному кивком головы открыть тумбочку, сощуривал глаза. И не находя за что бы зацепиться, начинал нервничать. У него краснело круглое лицо. Щеки еще сильнее свешивались на воротник кителя. А если смотреть на него с затылка, то щеки казались двумя гениталиями породистого быка, подвешенными к ушам. Мы с ребятами знали об этом и всегда не могли сдержаться от смеха, затыкали себе рот ладонями.

В «общагу» он приходил чаще в гимнастерке, а не в парадном френче. Подпоясанный широким офицерским ремнем, сзади «АХЧ» был похож со своим широким задом на толстую бабу в платье, потому что галифе почти не было видно. Из-под гимнастерки торчали коротенькие кривоватые ноги в хромочах гармошкой.

Он долго искал карман галифе под гимнастеркой и доставал чистый носовой платок. Начиналось самое страшное. Все знали об этой его прихоти и придури. Вылизыва-

ли пыль везде. Но он находил каждый раз новые места, где пыль была.

Дежурный прощался с общежитием. Или родители «провинившегося» «АХЧ» как-то умасливали и паренек оставался еще на неопределенный срок пожить в общежитии.

Так «АХЧ» готовил место своему новому жильцу, у которого родители что-то могли или занимали важный пост...

ИНТЕРВЬЮ

– Вот и заканчивается тяжкий високосный 1996 год. Чем он был примечателен для Вас? И были ли светлые пятна в нем?

– Прежде всего хочу поблагодарить газету «Шадринский курьер» за отзывчивость и помощь, а также и всех остальных спонсоров, кто помог увидеть свет моей второй книжке «Все пережили», которая вышла в 1996 году. Готовил новые работы. Опять надо искать спонсоров. Ау-у-у! Откликнитесь, добрые люди! Осенью сделал несколько работ живописных. Но в основном занимался больше керамикой. Ко мне домой приезжало Шадринское телевидение. Сняли фильм о керамике из серии «Шадринские мастера». Перед Новым годом обещали показать по Шадринскому ТВ.

– Какие мечты, желания, задумки греются Вам в предстоящем году?

– Я, в силу своего возраста, живу уже больше прошлым. Стараюсь вспомнить все то хорошее, что было, что прошло. Часто вспоминаю свою юбилейную выставку и тех людей, кто тепло и сердечно отзывался о моих работах, о моем творчестве. Это – Валентина Михайловна Платоненко, Ольга Петровна Осипова, Валерий Михайлович Рожков. Часто читаю и перечитываю стихотворение моей бывшей ученицы по художественной школе – Наташи Порохиной, которое она оставила в книге отзывов:

*«Ты помнишь, я искала облака,
Их рисовала на Тумановой горе.
И ветер нас тогда сорвал с холма,
Мы полетели птицами к реке.
Ты помнишь, я искала облака
В реке журчало небо, отражаясь,
Тогда я поняла, что все течет, меняясь.
Река и небо. Ты и я...
И наш учитель – Алексей Андреевч.
Мне громко крикнул: «Посмотри!»
Твои седые облака, обнажив
Златые нимбы, бегут барашками
Скорей лови мгновенье!
И пока...
Я прикрепляла лист,
звонко билось сердце,
Все озарилось, небо осветилось
И засверкала акварель. Потом...»*

Алексей Андреевич! Спасибо Вам за творчество и за науку.

Порохина Наташа».

Вот другая запись в книге отзывов: «До сих пор я видела и знала А.А. Мехонцева – поэта в прозе. Сегодня же узнала еще Мехонцева-художника. Слава Богу, не оскудела Земля зауральская (и российская в целом!) талантами. Значит завтра будет прекрасный рассвет после тяжелой ночи-неразберихи. Спасибо за то, что Вы есть и что дарите Ваш талант людям, заставляете их чувствовать себя богаче, умнее, счастливее!

Искренне В. Платоненко».

Или еще запись – профессора Челябинского университета – Тимофеева Вячеслава Павлиновича: «Алеша! Головышка Ваша умная, душа Ваша – внимательная и трепетная, рученька – талантлива! Вы прекрасны, как чело-

век, я не вижу в Ваших творениях недостатков!».

Еще записи: «Алексей Андреевич! Великолепные, живые, чудесные цветы! Как приятно ощущать аромат исходящий от них! Спасибо Вам, за Ваш великий труд! Мы очень рады, что у Вас есть выставки и всегда будем посещать их!

Студентки ШГПИ».

«Родина моя! И тревожная и радостная и такая прекрасная. Живая! Спасибо, Алексей Андреевич!

А.Забродин».

«Добрый день, Алексей Андреевич. Здравствуйте! ... снова и снова, встречалась с Вашими работами, заново переживаю все ваши периоды жизни, в них передается весь Ваш внутренний мир, все Ваши Тайны, все Ваше Богатство. Очень многое совпадает с моим внутренним миром, ... и может быть поэтому Вы и Ваши работы дороги – мы родственны! ... Благодарю. Вы со мной!

Мила».

И много, много других добрых отзывов наших гостей из Тюмени и Челябинска, Кургана и Катайска, Перми и Екатеринбурга. От будущего я почти уже не жду ничего хорошего. Хотя и пытаюсь как-то карабкаться. Что-то задумываю, потом стараюсь задуманное воплотить – будь то книга, картина или скульптура. У всех людей мечты и желания очень и очень разные. У одних – купить «Форд», построить виллу, съездить на «Канары»... У других – насадить картошки, накосить сена, напилить дров, перезимовать, т.е. выжить как-нибудь... К последним я отношу и себя.

– А когда вы сделаете новую выставку в Шадринском или Курганском музее?

– *Я в любой момент не против. Только что-то начинает надоедать. Везде все самому приходится делать. В цивилизованном мире этим занимаются специально подготовленные люди. Продюсеры что ли? А то много*

времени отнимает эта беготня. На творчество не остается. Морального удовлетворения мало, а материального совсем никакого. Самому приходится наоборот раскошелиться. Ничего не покупается. Не привыкли украшать квартиру картинами и керамикой.

– А как теперь обстоят Ваши дела?

– Как сажа бела...

– А что так мрачно?

– *Се ля ви... (Такова жизнь...). В этом диком и беспросветном российском мире нет место человеку труда. А человеку творческому в особенности. Никому не надо то, чем я занимаюсь. Ни чиновникам, ни «новым русским». Деньги, власть над себе подобными, да утешение инстинктов – вот что теперь правит бал. А самые наглые повылезали из всех щелей и занялись перекладыванием «бабок» из кармана государства или соседа в свой собственный. А если шире посмотреть, то все проблемы уходят вглубь... Как нас учили, что при капитализме – «человек человеку – волк». Вот и дожили до волчьей жизни. Хоть вой... А западные капиталисты оказались мудрее. И Бога чтят, и человека не забывают.*

– Кстати, как вы относитесь к Богу?

– *К Богу?.. Хотелось бы верить... И пытаюсь. Ведь Вера – это устремление (по моим понятиям) к идеалу, к идеальному человеку, т.е. ко Христу. Только истинно верующий может создать что-то божественное. Если человек верит в людей, в их добропорядочность, в их стремление к самосовершенствованию, то и сам он тоже поневоле стремится быть таким же. И чем таких людей больше, тем лучше всем. И наоборот... То где тут до Бога? Остаться бы живым. Вот и приходится ощетиливаться... Живем из последних сил...*

– А как Ваши дела дома? Как здоровье Вашей жены – Натальи Петровны?

– Спасибо. Неважные дела... Двадцать третий год она уже не выходит на улицу. Опять зима пришла. Но ни учителям (ни инвалидам) не стали давать дров. Нет денег у администрации. Ни воды, ни отопления, ни канализации. Живем в заложниках...

– Наступающий Новый Год будет годом Быка. А вы кто по гороскопу?

– Я родился 20 апреля. В одних календарях это число относится к Овну, а в других – к Тельцу. Жена видит во мне больше Тельца. А я сам себя отношу к симбиозу – от того и от другого намешано. Как у кентавра.

– Значит это Ваш год наступает?

– Не знаю... Не знаю...

– Удачи Вам в Новом году!

– Спасибо.

– А что Вы желаете нашим читателям?

– Прежде всего, оставаться человеком в любых обстоятельствах, и взаимной любви, и безмерной доброты, и отменного здоровья! И, конечно, исполнения всех желаний!

С новым 1997 годом, друзья! Счастья Вам и успехов!
А это мой новогодний подарок читателям:

*Ты кисть в цвет вечерней зари окуни,
И нарисуй то, что Богу угодно...
Все сгармонируй. Любовь позови.
И действуй с душою свободной.
Копни из глубин. – Кто мы? Откуда?
Куда мы идем?
Все ценности наши храня.
И трепетно царствуй!
Рождение чуда
Взовьется в огне вдохновенном горя!
Дыханьем наполни пространство картин!
Духовным! Небесным! Земным!*

*Чтоб грезилось каждому, кто нетерпим –
Ко злу, дисгармонии, к серости зим,
Чтоб грезилось вечно цветенье Весны!
Чтоб людям хватало тепла!
Чтоб души немые лечили они...
И чтоб поэтам воздали сполна...*

РЕФРЕН И ТАВТОЛОГИЯ

Дверь открыта. Захожу в фотостудию: «Здрате!».

– Здравствуй, здравствуй, Бог живописи! Проходите, садитесь, сейчас чаю сообразим! Вон самовар готов.

Смотрю на столах шашки да шахматы вместо фотоаппаратов.

– Ты что ли переквалифицировался? – спрашиваю хозяина фотостудии Ю. Сеначина.

– Я все могу. И то и это, и пятое и десятое... Дело в том, что сейчас не надо учить – за тебя все делает японская техника – и наведет на резкость, и вычислит диафрагму. Ты только нажимай на кнопку и отдавай фотопленку в печать. Поэтому деток в фотостудию не стали родители отдавать. Купят «мыльницу» (японский фотоаппарат-ширпотреб, доступный по цене каждому члену общества) и щелкай, дитя, на здоровье, да радуй родителей своими успехами.

Юрий озабоченно перебирает бумаги: «Вот скоро открытый урок давать буду. Мало деток ко мне ходит. Но что поделаешь. Мероприятие для начальства, отчет готовлю. А чтоб меня совсем с работы не выгнали. Мне предложили еще один кружок вести – шахматный. Я тоже в этом деле волоку – дай Бог каждому. Так что я и фото, и поэзию, и шахматы – все могу преподавать. Увы – не ценят», – и наш маэстро крепко сжимает губы; складки возле крыльев носа еще резче заявляют о себе, скульпы обозначаются, ходят желваки, глаза отливают стальным блеском

и прищур их становится все уже и уже, а на переносице образуется целый каскад складок. «Теперь я и швец и жнец и на дуде игрец. Признаюсь честно только вот в музыке я профан, мне медведь на ухо наступил. А остальное я все могу. Фотография – это та же светопись, или как ты называешь ее живопись, в которой тебе равного нет».

Полгода не бывал в фотостудии. Все недосуг, то на работе дела, то дома. Решил навестить старого друга.

«Сколько зим, сколько лет»... Здравоваемся. Юрий засуетился: «Присаживайся дорогой гость, сейчас чайку сварганим, самоварчик поставим. Вот компьютер осваиваю, печатаю, на днях буду давать открытый урок».

– Что ли станция вам компьютер подарила?

– Какое там. Подарит она. Жди да радуйся. Сейчас без компьютера, как без рук, вот новую книжку стихов ребячьих набрал.

– А кто же вам его дал?

– Виноделов Андрей.

– Как Виноделов? Неужели твой ярый вражина расщедрился и на мировую пошел?

– Какая мировая? Война до победного конца, – ощеривается Юрий двумя оставшимися зубами. – Это другой Виноделов, который верующий. Ему надо статью набрать для газеты православной .

– А тот – Винокуров одно талдычит: «Плохая книга... Плохой редактор...» на эту-то фофановскую премию мы опять Маню заявили. Прошлый год ее Винокуров прокатил. На этот раз им невпротык: Маня лауреат областной и международного. Да и стихотворений прибавилось. Мы им козу заделали: снова те же карточки и стишки протолкнули. Нате вам на блюдечке с голубенькой каемочкой. Они и заохали и заахали: «Какая талантливая девочка. Гений почти». Сам Винокуров выступил: «Да, прекрасные стихи. За год Маня поднялась на недостижимую высоту. От первых опытов стихосложения до вершин российской поэзии»

– Вот так вот. Маня пишет и пашет.

– А я что-то не очень от ее осенних виршей. Не зацепило, – вставляю наперекор Юрию.

– Не зацепило. – Юрий окаменел. – Что это за определение, что это за анализ? На уровне понравилось, не понравилось. Надо указать – что не так сделано. Более конкретно разбирать каждое стихотворение. Какое содержание, какая форма. Ну, нет. Так нельзя. Да кто ты такой, чтоб так заявлять – «Не зацепило!». У ней все есть, и все на месте – и идея, и замысел, и все соответствует. Она сейчас все сама понимает, я уже не вмешиваюсь. Хотя Юля Федоров и говорит, что я сам ни одного стихотворения не сочинил, а лезу указывать да учить.

Да это так, но я знаю как надо. И этого достаточно. Вот и самоварчик готов. Сейчас чайком побалуемся. (Я домысливаю истертую фразу – «Телевизор посмотрим, поищемся. Но телевизора нет, куда-то убрали. А поищемся – это поищем кому бы кости перемыть да перемолоть).

– А Юля, говорят, новую книженцию стихов выпустил. Не слыхал?

– Нет.

– Мне – кто-то говорил. Не помню...

– Я Юле сразу сказал, если будешь выпускать – принеси мне на редактирование, а не Винокурову. Юля согласился, говорит, что у него лучше было, а когда Винокуров отредактировал, то стало хуже. Я Юле посоветовал только, чтоб свои фотографии он в книгу не вставлял. Никуда негодные, а еще бывший художник. Он теперь перешел на шахматы, а все художество забросил. И мне говорит, чтобы я тоже на шахматы переходил.

Ведь я когда-то чемпионом города был, подавал большие надежды...

Да вот фотографией увлекся, и все надежды побоку. Ни то ни се, ни это... Хотя раздолбаю любого и по фотографии и по шахматам, а уж про стихи – гиблое дело – надаю

и по ушам и по соплям. Хоть сам ни бум-бум, ни строчки не сочинил. Вот такой я гениальный...

И детки мои фото любят, студийцы все гении. Не зря же я их муштрую и пестую. Хоть Сережа Килуных и написал, что птенцы только вылупились из яйца и сразу запищали в рифму. Сейчас они уже не птенчики, а мужики и бабы – Федя, Таня и Маня. Любого за пояс заткнут и по стихам и по фотографиям. Одним словом уже настоящие пахари – Вышли на большую дорогу. Сами «бабки» делают. У меня не просят.

Юрий достает из ящика стола пачку фоторабот. «Вот сам сделал. Уж кои веки не брался. Все привык в советские времена на «халяву» надеяться – свои денежки не тратил ни на пленку, ни на бумагу. Всем станция снабжала. А как пришли к капитализму – накладно стало фотографией заниматься. Много лет уже не снимаю видочки окружающей природы. Тут как-то восьмая школа купила серьезную японскую камеру и дала мне поработать. Я решил вспомнить молодость. Когда-то не выпускал «Зенит» из рук ни днем, ни ночью. Все полки были завалены моими карточками. И сейчас где-то лежат, пылятся. В ребячьи книжки их вставляю, чтобы украсить их стихи своими шедеврами. Надо же как-то оправдывать свою фамилию на обложке.

Передает мне цветные фотографии. Я перебираю, почти не останавливаясь. Про себя комментирую: «Это банальный вид, это дети делают лучше, это штамп, это не оригинально». Но вслух стараюсь пересилить себя и поддержать Юрия – он чрезмерно щепетилен и чрезвычайно тщеславен. И чтоб не обидеть, изредка похваливаю его карточки: «Неплохо... Какое солнышко... и т.д.»

Он сам понимает, что отстал на много лет от своих питомцев и вообще от искусства фотографии. А чтоб догнать время, надо, как он выразился – «пахать и пахать». Чего он не делает совсем. Увлёкся рыбалкой. Днюет и

ночует на реке Исеть. Закормил рыбой всех друзей и знакомых. Да и бизнес при этом неплохой, на курево хватает. Чтоб не отрываться от семьи. Леща как-то на 5 кг поймал. А нынче летом щуку – на 6 кг – во всю ванну длиной и толщиной с доброе полено.

Настало время и мне кое-чем удивить Юрия. Достаю газету – «Жемчужина Зауралья». Спрашиваю – знает ли он эту газету. Он в недоумении. Подсказываю, что в лесу находится. Он всматривается пристальнее, надев очки и видит здравницу – железнодорожную больницу-санаторий.

Я развернул газету – на второй странице показываю на фото. Юрий берет газету и читает текст. Улыбается, и как всегда в таких случаях ерничает: «Правильно делаешь, что несешь искусство в массы, молодец». И чтоб выстрел не пропал даром, подсовываю ему вторую газету, раза в четыре объемнее. Дуплетом хочу сразить его.

– Это «Новый мир». – Юрий читает – «...Служил в ракетных войсках на Дальнем Востоке... (и т.д.)»

Рядом с фотографией мой рассказ, Юрий словно клещ впивается в рассказ. Читает заикаясь, разволновался видимо, уродует слова, перечитывает снова. Наконец, приходит в себя и начинает прицепляться к каждому слову, к каждой запятой и точке.

– Это рефрен, а это тавтология.

Я в недоумении, я таких слов в жизни не слыхивал. Говорю ему, что я академий не кончал, растолкуй что это такое. Юрий начинает входить в раж. Он на своем коньке. Тут уж ему равных нет. Тут уж он отыграется... И за Маню, и за свои карточки и за весь вечер, который жег огнем его язву желудка... Тут уж он надает всякому, кто посягнул на его тщеславный характер, на его гениальность... Тут уж он надает под завязку и «по ушам» и «по соплям», чтоб не повадно было в следующий раз заикаться о фотографии, о поэзии и о его питомцах; а главное – от-

платит всякому, кто кольнет или бросит камень в его «огород».

Юрий дочитал рассказ до конца. «Ну что, интересный рассказ, но прежде чем печатать, приноси вначале ко мне. – говорит важно Юрий. – Я подкорректирую, подредактирую и все будет в порядке. Чтоб тебе не краснеть перед всей областью за твою безграмотность. Тут же обыкновенный синтаксис. В редакции могли бы подчистить огрехи. Но не захотели, видимо. Ненавидят курганцы шадринцев. Думают: «Пусть провинциалы выглядят во всей своей дремучести». Так что пиши и приноси. Поможем стать образованным. Я же не зря деток учу уму-разуму. Они не противоречат. Слушают да «мотают на ус». И ты мотай».

Я поглядываю на часы. Надо домой. Юрий выключает компьютер и мы выходим в зимнюю морозную и звездную ночь. Половина оранжевой луны висит на боку над одноэтажным провинциальным райгородом.

АХЧ

Кто-то из литераторов говорил, что все они вышли из гоголевской «Шинели»... А про всех нас советских – можно сказать твердо, что мы вышли из «сталинской шинели», а если еще точнее, то пока что пытаемся вылезти из-под «сталинских сапог»...

...Он всегда был одет в китель цвета «хаки» сталинского покроя. Ворот едва сходил на его толстой шее, но всегда был застегнут наглухо, отчего с гладко подстриженного шишковатого затылка на воротник свешивались розовые и жирные складки кожи. На шарообразном пузе, будто он был на сносках, сверкали золотисто-надраенные пуговицы. Одет то в синие, то в зеленые брюки-галифе, в начищенных до блеска сапогах гармошкой. Личико кругленькое, красненькое. Как сказал бы известный артист-

сатирик Михаил Евдокимов – «Морда красная, такая...». На голове матерчатая фуражка тоже по военному покрою, одного цвета с кителем, только козырек не блестящий, а обшит материей. А рук будто и нет – одно пузатенькое туловище. Маленький, и катится как колобок из сказки...

Глазки узенькие, заплывшие, близко расположенные к переносью и смотрят то режуще стальным холодком, то хитро ухмыляющимся добродушием, но с надменностью... Носик маленький, вздернутый и не видно его совсем, будто состоит из одних дырочек. Щечки лоснящиеся, чуть не лопающиеся. Губки – узенькие ниточки с приподнятыми вверх уголками. Он не ходил, а мелко переставлял ножками, перекатывался шариком.

Когда я поступил в техникум, то стал обивать пороги руководства, чтоб мне дали общежитие. Меня направили к заму. Перед кожаной дверью я в недоумении остановился, прочитав надпись на ней – “АХЧ”.

Открыв дверь, я увидел красную физиономию без признаков шеи, насаженную на серо-зеленое паукообразное тулово, держащееся за ярко-зеленое сукно объемистого стола с блестящим на нем стеклом.

Я объяснил цель своего прихода. Он долго и витиевато выспрашивал меня, где и кем работает моя мать. Я ответил, что в совхозе им. Буденного, выращивает свиней. Он начал мне толковать что-то про поросят. Но я тогда так и не понял – куда он клонил. Никаких намеков не дотункал. Деревня... А только сейчас, почти через сорок лет дошло, чего ему было нужно от меня. Как теперь выражаются – простимулировать его нужно было. То он все тянул резину и тянул с общежитием. То завтра приди, то через неделю. Полгода, наверное не давал мне общежития. А я так и не понял... Он, видимо, тоже видит, что от меня, дундука непонятливого, ничего не добиться. Махнул рукой и подписал мое заявление. Но открытым текстом все-таки побоялся высказать свое вымогательство. Так я

поселился в «общагу». А другие ребята, как «Мухаммед» или Частных с Коростелевым и Самыловым сразу получили общежитие. У «Мухаммеда» мать в Канахах в сельсовете работала, у Коростелева с Самыловым отцы в председателях...

КТО У НАС ВМЕСТО БРЕЖНЕВА-ТО...

Звонит нам в выходной одна учительница начальных классов, уже пенсионерка, но все еще работает:

– Слушай, Петровна! Расскажи-ка мне свой рецепт – как ты манный пирог стряпаешь?

– Как, как, – отвечает работавшая с ней Петровна. – Очень просто, Степановна. Беру столько-то того... этого... и все – в духовку.

– Ну, все поняла. Счас стряпать буду своим внукам. Гостят у меня.

– Слушай-ко, Петровна! Я что опять звоню. Кто же у нас счас вместо Брежнева-то? из башки вылетело... Что-то...

– Как кто? Ты че это, Степановна, офонарела? Борис Николаевич Ельцин, – отвечает раздраженно, но с улыбкой Петровна.

– Во-во. Он самый. Чертов склероз. Слышала, нет, че с ним опять? Захворал... Вроде.

– Да, заболел, ишемическая болезнь сердца. Второй раз уж прихватывает его.

– Дак, наверно, опять перебрал... Лишку... Там в Америке-то... Ему бы поостеречься, а он «хлещет»... Не думает об нас... У меня вон муж тоже сегодня мучается. Насопся вчера где-то. Жалуется мне: «Ой, мать, болит моя головушка... Ты бы хоть, мать, посочувствовала мне. Дала бы опохмелиться чуток. Сама же знаешь, что от чего заболел – тем и лечись...»

– Хрен тебе, не опохмелиться, – отвечаю ему. – Надо вон капусту седьня солить, а ты опять наопохмеляешься

на другой бок. ведь не утерпеть тебе. Нет, чтобы выпил маленько, подлечился. Так нет, пока не опорожнишь чекушечку, не попустишься. А завтра опять будешь маяться...

– Ой, Петровна, уж, наверно, пирог пора стряпать? Побегу.

Немного погодя опять телефонный звонок. Еще одна учительница звонит – Семеновна. Обменялись новостями. Петровна рассказала, что ей звонила Степановна. Да все допытывалась – «Кто у нас вместо Брежнева-то». Они посмеялись с Семеновной, которая тоже подтвердила, что Ельцин «лишка» принял, вот и «захворал». Семеновна прокомментировала, что «хворь» у нашего всенародно избранного президента точно от того, что «тяпнул» малость. А ему нельзя. Вот и прихватило. Себя не жалеет нисколько. Хоть бы о своем народе подумал. А то бросил нас на произвол судьбы... Зарплату учителям не дает... Учителя уж бастовать собираются. Вон у Степановны и у Семеновны тоже мужики лежат, мучаются бедненькие. Еле тепленькие. Ну и жизнь пошла...

Подошли октябрьские праздники. Их отмечали как всегда. Собирались компанией – учителя с учителями да со своими мужьями. Наготовив салатов, наварили мясного, кое-чего прикупили, хоть и денег не платят. Больше стали рассчитывать на себя, на свое хозяйство. Картошка своя, лук, чеснок, морковь, свеклка, помидоры, огурцы, редька. Всегоросло. Вон нынче по 20 банок трехлитровых закрутили огурцов-то с помидорами. Да два трехведерных бачка капусты насолили. Хорошая выросла – тугая да шибко уж сладкая. Ягоды – малина, виктория, смородина, облепиха, яблоки – все уродилось. Можно прожить. Да на ягодах-то браженьки можно поставить или на самогончку перегнать. Вот и попраздновать можно. Когда-то 7-е ноября здорово отмечали. Так что и выпить можно, да только вот силенок маловато становится копать-то в огороде. Дети разъехались, далеко на Севере где-то. Редко теперь приезжают...

Вот мы три-четыре пенсионерки соберемся, поьем своего-то винца на ягодках-то. Оно и красивое, и сладенькое. Две-три рюмочки – и запели. Нынче, правда, не стало что-то петься-то. Душа все болит что-то, и суставы ноют... Больше плакать хочется... Вот мы попоем да всплакнем маленько. Поговорим о том, о сем. На душе-то и потеплее станет. Полегчает чуток. Все одно – надо как-то дальше жить....

А в этот раз Степановна до того ополчилась на Ельцина, что подговорила своих подружек написать открытое письмо пенсионерок-учительниц нашему всенародно избранному президенту!

Дорогой Борис Николаевич!

Мы уже прожили и выжили целую пятилетку. Раньше-то в советские времена – вон какие успехи за одну ту пятилетку были. К тому же выполняли ее за три-четыре года.

А теперь что? Где наши успехи? Где наша зарплата. Все хуже и хуже... Денег, заработанных нервами и кровью и то не видать... Уже 7-е ноября – красный день календаря прошел..., а денег не видно еще и за прошлый год.

И когда же вы на рельсы-то ляжете? Ведь обещали...

А легли в свой санаторий. Мы, конечно, сочувствуем Вам. Хворь-то она никого не щадит... Все под Богом ходим...

Вот Вам еще захотелось пожить на этом свете. И сердечко свое подремонттировать. А потом опять нас начнете жучить... Безденежьем и нищетой...

Крупы, набранные еще при Брежнев, уже кончаются. Но там завелись жучки и червячки. Но мы просеиваем, выбираем их и варим кашку. Мыла осталось несколько кусков, сахара полмешка всего...

Выздоровливайте, наш дорогой Борис Николаевич, поскорее. И беритесь за дела. Хватит, понимаешь, все на

самотек пускать. Хватит там у себя птичий базар разводить, понимаешь, разных там грачевых, куликовых, лебедей да гусинских...

Пора экономику на прочные экономические рельсы ставить, раз сами Вы не хотите на них ложиться...

Вы уж нас извиняйте, если что не так...

С приветом – Степановна, Семеновна, Петровна и другие.

Мы старое поколение и шибко «приучены» работать, так что как-нибудь выдюжим. Но и Вы трудитесь не покладая рук...

Пенсионерки как-то сразу успокоились, что решились на такой подвиг, что написали такое теплое письмо президенту. И подумали, что, наверное, после этого жизнь хоть на немного, но изменится к лучшему.

Русские люди всегда пытались поверить в чудо...

ДУША НАРОДА

На собрании в столовой д. Барневки, где были ветераны войны и труда, мне пришлось сидеть рядом с очень стареньким дедом. Меня поразил его взор. Глаза были грустно-грустно одинокие. Вот этот-то взгляд и напомнил мне увиденную Барневскую церковь, которая стоит неприкаянная в заросшем бурьяне. Очень уж сиротливо она выглядит. Забытая всеми и заброшенная глядит она не мигающими глазницами пустых окон...

Но одно укрепляет веру и надежду на лучшее, что еще не совсем она разрушена, а главное, что кресты на ней не сняты. И что безжалостное время еще не всем душу выстудило. Еще не полностью потеряна вера в благоразумие, в совесть, в добрых людей, которые еще есть.

Вот этого-то нам теперь и не хватает. И особенно молодым, ни в Бога, ни в черта не верящих...

Вот и эта Барневская церковь ожидает тех порядочных людей, что остались среди нас, которые помогут оживить ее душу и тело.

Из выступления: «...Так же и душа пожилого человека ожидает чего-то доброго. Помощи ли в конкретном деле или просто душевного слова.

Так спасибо же тем добрым людям, у которых неравнодушные сердца. Кто находит время помочь престарелым и немощным! А Вам, пожилые люди, низкий поклон за то, что любили свою Родину, делали ее богаче своим самоотверженным трудом.

Но наша с вами общая беда в том, что этот труд сейчас растаскивается наглыми и охмелевшими от своей власти прихвизаторами. И как тяжело это видеть, когда все происходит прямо на наших глазах, на этой грустной ноте и заканчиваю».

Здоровья Вам и счастья!

Из выступления: «...Всю жизнь горбатились в колхозе – совхозе да еще и дома. Порой задарма, за палочки-трудодни, за минимум заработной платы. Чтоб только не умереть с голоду. Иные умудрялись скопить на дом, обстановку и на машину. Хорошо живем! Богато! Оказывается, мы есть что ни самая последняя нищета! Пусть нищета! Но зато все понемногу было! И надо было быть наглым и сволочным человеком, который теряя совесть хапает и хапает. Коего никогда и никто не уважал.

А сегодня люди продали свою совесть за гроши, а кто и за миллионы, лишь бы пожить, пожировать в этот момент. А Вы вспомните! Так ли было! Уважали ли таких людей раньше! Да с ними не здоровались (только по необходимости, если зависели от них).

Сегодня Вы все стали пожилыми людьми – те, кто горбатился и те, кто повелевал Вами. Старость всех уравнила. Кто горбатился, тех было всегда больше. И вот мест-

ное начальство и правительство решило вас отблагодарить за самоотверженный труд, за то, что вы отдали Родине свою жизнь, свое здоровье, утвердив День пожилого человека. И на том, наверное, надо сказать им спасибо. Что не забывают раз в год, дают по одной котлетке и по сто грамм водки. А в остальные 364 дня в году, видимо надейтесь на себя (или на Бога, кто верует). Грустно и больно за такое внимание. Что делать? Мы сами, и наши дети – руководители нынешние – так воспитаны: не почитать старших, не видеть их проблем, кроме своих. Видимо еще долго так будет. И может спасибо хоть за этот день...

Ваше поколение видело и испытало голод и холод, войну и разруху. Но вера в свои силы, в лучшую жизнь окрыляла Вас. И Вы, не жалея своих сил и здоровья подняли Россию из пепла и разрухи.

Но кто теперь поднимет нашу Родину? Новое поколение? Едва ли? Новое поколение, а особенно в лице невзрачных пупырышков на здоровом теле народа наоборот стараются, как можно больше урвать, нахапать для себя. А после них хоть потоп.

И это очень страшно, как дальше жить. Не знаю. У меня во дворе такой упырь завелся. Вы его знаете все прекрасно. Совхоз разваливается, рушится, а упыри пухнут и жиреют. Скоро, видимо, останутся одни упыри, а рабочих придется сокращать. Выживайте сами, как хотите. А упыри останутся и будут получать зарплату. Да успевать хапать, да прихватизировать. Да на нашем с Вами горбу въезжать в так называемый капитализм. Нерадостная картина, но что делать? Я не знаю... Видимо, Всевышний нам готовит такие испытания. Но есть еще такая поговорка: «Бог помогает тому – кто сам себе помогает». Значит от нас с Вами тоже многое зависит...

Сегодня, приехав в первый раз в д. Барневка, я увидел стоящую неприкаянной в середине села полуразрушен-

ную церковь и почудилось мне, что это стоит расхристанная, обвалившаяся, полуразрушенная, с выбоинами и пустыми окнами-глазницами душа народа. Такая же одинокая, неприкаянная и одряхлевшая в зарослях дурбетника, но не потерявшая веры в высшие силы свои, которая, тая надежды на лучшие времена (для некоторых душ уже они наступили), когда эти души кто-то начинает приободрять, приголубливать, обустраивать. И души эти возрождаются, оживают и начинают чуть теплиться, давая всем окружающим веру, надежду и любовь...

Собрались в столовой. Два ряда столов. Угостили котлетой с гречей. Подали по 100 грамм водки. Напоили чаем с плюшками, печеньем и конфетами. Мужчинам подали еще по 100 грамм водки и некоторым женщинам, кто помоложе. Поздравил всех директор совхоза.

Меня представили. Дали слово. Что-то говорил, уж не помню что. Поздравлял тоже. Потом выступила глава сельсовета.

Потом поздравили именинников в сентябре, подарили им поделки первоклассников – мини-букеты из сухих трав на крышке из-под майонеза.

Директор попросил поднять тост за пожилых людей. Выпили. Закусили. Кое-где и песня начала пробиваться несмело. Но активисты клубные вытащили наиболее живых на середину зала. По пять человек от мужчин и женщин. Объявили игру-соревнование. Кто пройдет по прямой черте, отмеченной мелом, кто больше споет частушек, кто спляшет на стуле и другое.

В общем, маяли стариков и старух. Проводили мероприятие, чтоб отметить галочку. А когда это издевательство прекратилось – грянула песня народная-застольная – «Как же мне рябине к дубу перебраться...». Душевная такая.

Я сразу вспомнил свою маму. Такую же изробленную на совхозной работе. И так же любящую песню по редким

праздникам. Спели «Катюшу» и другие старые песни. Праздник для души только начинался. Но нам надо было ехать. Сели в автобус. Я любовался золотистыми берегами вдоль дороги и уплывающей церквушкой.

Вот и эта барневская церковь ожидает своего часа, тех добрых людей, которые помогут оживить ее душу, заполнить пустоту ее, и вдохнут жизнь в омертвевшее тело.

РУССКАЯ ПЛЯСОВАЯ

У нас под окнами пышно цвела в тот год черемуха. Подошла и мне пора в армии служить. Проводины решили сделать под черемухой. Поставили стол, скамейки.

... В этот вечер я провожал до дому Аннушку. Остановились на мостике через лог...

*Ручеечки протекали
Через мосточки малые.
Я последний раз целую
Аню в губки алые.*

... На следующий день вся моя родня и знакомые пошли провожать меня до автобусной остановки (После окончания Шадринского автомеханического техникума меня направили работать в город Комсомольск-на-Амуре. Оттуда меня и в армию призвали).

Я прилетел в родные края в отпуск и попрощаться перед уходом в армию. Сегодня меня провожали в солдаты. Шли по деревне большой ватагой, обнявшись. Кто с кем. Родные, друзья. Гармонь ревела... Раздирала душу на части... Аж мороз по коже. Пели всякие частушки.

*Скоро, скоро нас забреют.
Скоро, скоро увезут,
По шинелочке наденут*

*По винтовочке дадут.
Эх, матаня, встань поране,
Вымой лавочку с песком.
Повезут меня в солдаты,
Ты заплачешь голоском...
Эх, матаня, ты кудерек,
Я не сам тебя завлек
Эх, ты ко мне ластилася,
Рядышком садилася...
Гармониста я любила,
Гармониста тешила,
Гармонисту на плечо
Сама гармошку вешала...*

Под гармонь пели все: друзья, подружки, знакомые.

... Все это видение всплыло в моей памяти недавно, когда я услышал, как заиграла гармонь в центре города. На базаре. Где теперь торгуют с лотков современные бизнесмены. Я увидел гармониста в ярко-красной клетчатой рубахе. Черные брюки заправлены в короткие резиновые сапоги. Он был чуть под хмельком. И как он лихо разворачивал малиновые меха! Залюбуешься! Короткие, отрывистые переборы бередили душу своей откровенно-надрывистой интонацией. Будто человек стоит на самом краю пропасти. Еще миг – и он сорвется... Но он идет, ничего не замечает, будто слепой. И играет на своей гармонии...

Такое состояние рождает гармонная игра. Холодный озноб пробегает по спине. Гармонист играет «Улочную». Потом ее окрестили «хулиганской». Даже запрещали играть... Или называли ее еще по номеру статьи в уголовном кодексе «шестьдесят четвертая», которую за хулиганку давали.

– Давай шестьдесят четвертую! – забурев в загуле, просил тот или иной пьяный мужик. – Под котору рубахи-тервут!

– А ну-ка, давай паздерни, друг!

И гармонист разворачивал меха на полную мощность. А гармонь, кажется, задыхалась от невысказанной боли и тоски. Ревела почти человеческим голосом...

Пьяный мужик хрипло взывал:

– У-у-у, мать твою, перемать...

И скрежетал зубами. И размазывал по лицу сами собой навернувшиеся слезы...

А бывало, под эту игру дрались, рвали на себе и друг друга рубахи, под нее накатывались непрощенные, скрываемые в трезвом состоянии в глубине души слезы...

*Эх, сороковочку на стол,
Забегат милиция,
Если будете стрелять,
Откроется позиция.
Я недавно из Кабанья.
Хулиган молоденький,
Засажу по рукоятку
Свой кинжальчик новенький.
Эх, где мои семнадцать лет,
Куда они девались.
В исправдоме я сидел
Наверно там остались.
Скоро я не запою,
Скоро не услышите,
Скоро здесь меня не будет
Тяжело завздышите...*

... Гармонист, высокий сухопарый мужчина лет пятидесяти с гаком, шел вдоль лотков, то к одной группе подойдет, то к другой. Развернет меха. Взревет гармошка трепетно-тревожным аккордом, как задыхается... Да только зря он старается. Нет ему понимания. Нет поддержки. Нет уважения... Все почему-то отворачиваются от него. Не

хотят послушать, подпеть. Не говоря уж о том, чтобы сплясать под эту неугомонную залихватскую мелодию. Как ни старался гармонист, как надрывно не плакала его гармошка, все было бестолку. Никому он был не нужен со своей русской буйно-отчаянной душой...

И брел он среди празднo-шатающейся толпы молодых людей, никому не нужный...

... Нет, нашелся-таки один человек. Наконец-то встретил он родственную душу. Это был инвалид. Лицо сероземлистое, кудрявая взлохмаченная голова. Правый рукав был засунут под ремень сереньких, мятых с заплатами брюк. Увидев гармониста, он широко заулыбался, шустро подкатил в своих стоптанных башмаках. Оживленно и быстро задвигался возле гармониста в такт плясовой мелодии. Гармошка с болью вздохнула, увидев это серое, кучее, похоее на человека, привидение среди ярко разряженного люда в иностранных шмотках и, набирая темп, запричитала будто, заревела, запела русскую плясовую.

Инвалид резво заприплясывал под эту безудержную музыку, под которую ноги сами просятся в круг, захолапывал единственной левой рукой по коленку с заплатой...

*– Гармонист, гармонист,
В кухне поварешка,
Не бывать тебе на моде
Кабы не гармошка...*

Запел инвалид, кругами обхаживая и приплясывая вокруг гармониста. Их брезгливо обходили. Иные просто не обращали внимания, как будто этих людей для них совсем не существовало. Другие, наоборот – с какой-то даже самодовольно-сытой ухмылкой, одетые в «кожу», считали ниже своего достоинства останавливаться и слушать, обращать на них внимание. Шли с поднятым носом, гор-

до и демонстративно дефилировали мимо, даже не поворачивая головы. Лишь изредка, взглядом оценивая прищуривались к развешанным в лотках товарам. Дамы-лоточницы, в свою очередь, презрительно ухмылялись, глядя на гармониста с пляшущим инвалидом. Кривая ярко накрашенными губами и попыхивая дорогой сигаретой. Иные были рады развлечься, поглазеть на бесплатных артистов.

Подойдя к чернявым молодым ребятам с Кавказа, группой стоящих на отшибе, гармонист вновь начал демонстрировать свои аккорды. Но и тут не пробудил никаких эмоций. Уж на что кавказцы народ «горячий». А гармошечная игра, особенно «плясовая» мелодия даже чуть напоминает плясовые других народов.

Есть что-то в ней общее у всех. Ноги так и просятся ринуться в пляс, пройтись по кругу. Ощутить себя под облаками, молодыми, красивыми... Ощутить себя плывущим выше горных вершин, над кишлаками и русскими деревнями. Но, увы, время, видимо, настало не для плясок...

Время – деньги.

Как выразился один знакомый:

– Хватит плясать. Пропели, пропили и проплясали и так Россию-матушку!

– Да, прохлопали в ладоши..., – поддакиваю и добавляю ему. – Теперь бизнес все затмил. Доламывает все наши традиции. Кои коммунисты не доломали...

И как ни пытались гармонист с инвалидом завлечь благопристойных спекулянтов и самодовольных мещан, так у них ничего и не вышло.

Эти двое здесь были не нужны. Они были из русского мира... А в этом новом, нарождающемся торгашском мирке, в мире иностранных товаров, человек с гармонью и человек без руки никак не вписывались. Они не гармонировали в этом мирке и казались совершенно лишними. И не находили ни участия, ни сочувствия. Они казались изгоями...

Что-то с болью отозвалось в душе от этого ярко-цветастого современно-рационального и безучастного ко всему базара-рынка. То ли от этих неприкаянных двух русских человечков. На этом крохотном пяточке базара правили вкусы молодого поколения, новой нарождающейся жизни... Неужто России будущего? Неужто частушка и гармонь отслужили свое? И останутся теперь как реликвия нашего прошлого? И которое так и не хочется забывать...

*Эх, сколь гармошка пела важно
Не могла развеселить.
Эх, пошла матаня замуж,
Я не мог разговорить...!*

ПРОЗА ИЛИ ПОЭЗИЯ

Пришел к Юре Сеначину в фотостудию. Сидим, чай пьем. Я показываю Юре свои новые стихи. Он уцепится за первое слово и весь вечер преподает мне правила и правописания и стихосложения. А стихотворение так и не прочитает.

– Слушай, - обращается он ко мне. – У меня тут недавно маститый шадринский поэт побывал.

Юра приносит кучу вырезок из местных газет, где его стихи сопровождаются моими фотографиями. Я взял вырезки, почитал тексты стихов. Говорю Юре, что это надуманные стихи, а я люблю, когда тебе Всевышний их диктует... Ты лишь посредник... Берешь бумагу и записываешь.

– Значит, у него сочиненные стихи что ли? – спрашивает Юра. – Да? А ты знаешь, я ему тут сказал, что у тебя новая книга вышла. Он спрашивает: «Прозы или поэзии?»

– Прозы, – отвечаю.

– Ну, тогда ладно, – многозначительно и снисходительно произнес он.

– И что он этим хотел сказать? А если бы сборник стихов вышел? Тогда что?

– Не дай Бог... Разнесет в пух и прах. Он тут единственный законодатель...

Мой последний автобус уже давно ушел в мою пригородную деревеньку, пока мы с Юрой занимались грамматикой стихосложения. Теперь мне придется топтать пять километров пешком, по релкам реки Исети. А там на паром. Юра вызвался пойти со мной. Я был очень рад этому предложению. Вдвоем веселее и быстрее дойдем.

Мы шли по начинающим желтеть лугам. Любовались природными цветами: неунывающими целомудренно-белыми соцветиями ромашки, уже коричнево-темными метелками конского щавеля, пахучим розовым порезником. Солнце плавно скатывалось в пламенеющие у горизонта облака. Закат горел расплавленным металлом. Юра попытался выдать поэтические экспромты. Но дальше одной-двух строф дело не двигалось, но и этого было достаточно, чтобы почувствовать его поэтическую натуру.

Переехали на пароме через Исеть. Облака заката еще раз отразились в покачивающихся водах реки. Оказалось, что Юра, исколесивший всю страну до Приморья, и всю Курганскую область и весь Шадринский район, не бывал этой дорожкой в моей деревеньке Верхняя Полевая, поэтому был очень рад побывать в неизведанных местах. Весь вечер долго сумерничали, беседовали сидя у окна, любовались тишиной деревенской жизни.

РОДСТВО ДУШ

Только я занялся делами в мастерской – обрабатывал подсыхающую глиняную вазочку – стучит жена. Это она меня так вызывает. Бегу. Смотрю – в дверях стоит Юра Сеначин с фотоаппаратом на груди. Батюшки мои! Какие гости! И с охраной – во дворе ватага его питомцев – все

тоже с аппаратами на велосипедах. Обнимаемся. Приглашаю в гости.

А вчера Наташа напекла целый стол всяких разных ватрушек. Запах стоял вкусный, вкусный и добрый и такой домашний. Лучше этого запаха нет ничего на свете. И все ватрушки были разные, чудно завитые и перевитые. Тут и рогульки, и завитушки, и косички, и пышки... Все такие пышные и золотистые – глаз радуется. Наташа как чувствовала, что гости будут.

Сегодня Дымка – кошка наша, гостей замывала. Все сходится...

Я быстрее чайник ставить. Ребята пока знакомились с моими картинами в комнате, я заварил чай. Пошли посмотреть мою мастерскую. Показал и полуфабрикаты и готовые свистульки. Посмотрели картины на стенах. Предложили мне сделать стеллажи, чтоб посвободнее стало в мастерской. Обсудили картину на мольберте – «Иисус и дьявол». Поговорили о добре и зле. Почему зло всегда почти торжествует? Потому что оно объединилось.

А добро в одиночку. Мы разобщены. Но добро и зло в одном человеке, как две грани – света и тьмы. Человек идет по жизни как по лезвию бритвы – между добром и злом. Скатываясь то в одну, то в другую сторону... Показал стих свой в «Пятницах» со своим рисунком, где у меня тот же сюжет – о добре и зле. Но там Добро повернуто к зрителю, а зло стоит за спиной Добра, то есть всегда одно целое.

Чай готов. Принес гору плюшек. Все восхищены их видом. Юра пошел на кухню благодарить Наташу за это чудо. Пьем чай, едим. Довольные встречей, беседой.

Юра воспитывает своих подопечных, журит их, ласково обзывая их «наркоманами». «Глодают сонные таблетки, черти! Балдеют. Нюхают химикаты. Новое поколение растет...», – рассказывает Юра. Трудновато, наверное, приходится ему. Зато делает благородное дело. А сколько

радостного блеска в его глазах, если кто-то из его питомцев сделает неожиданно удачный по замыслу снимок или напишет необыкновенно-восхитительный рассказ, или стихотворение. Значит, его труды не пропали даром. Дай-то Бог, чтоб побольше ребят из его клуба «Алмаз» стали творцами.

Еще я раза два бегал на кухню за ватрушками. И снова мы с завидным аппетитом уминали их. Да подливал чаю ребятам – только успевал. Вот и плюшки съедены, выпито по 3 кружки чая. Ребята довольны.

Напоследок я принес творческие работы. Керамику свою. Еще нигде не выставляемую. Никому не показанную. У всех широко раскрыты глаза. Юра многозначительно покачивает головой: «Да... Это не свистульки...». Ребята схватились за фотоаппараты. Но Юра остановил их. Что работы еще нигде не показаны. Нельзя фотографировать. Еще рано... Сам взял фотоаппарат и щелкнул нас всех карикатурно отраженных в зеркально-сверкающем чайнике.

Стали собираться. Пригласили меня с собой в березовый лесок «Межники». Я спросил у Наташи – нет ли каких дел. Оделись. Юра шапочку потерял. Все обыскали не на один раз – нет нигде. Я отдал ему свою. Хотел идти. Но я решил проверить во всех рукавах на вешалке. Нет нигде. Юра разделся – проверил. Шапочка оказалась у него. «Фу. Наконец-то. А то воры не бывали, а шапочку украли... Мне аж неудобно...» Они взяли свои велосипеды и мы пошли.

На улице сегодня прохладно. Дошли до реки. Изгиб реки. Лед еще стоит на середине русла возле острова. Огороды пустые – земля не оттаяла еще. Постояли на обрыве. Ветер холодный. Юра спустился по крутому откосу с велосипедом. Подал пример. Ребята не хотят отставать. За ним. Ему того и надо. Он снизу фотографирует их.

Идем дальше. Лезем в гору по дурбетнику. Крапива су-

хая, шишебарки. Я помогаю ребятам затащить «велики» в гору. Юра опять фотографирует нас. Идем возле одинокого тополя. Он задумчиво стоит чуть наклонившись. Ветви четко вырисовывают свой кружевной узор на фоне звенящего прозрачной голубизной весеннего неба. На северных склонах еще много тяжелого, крупитчатого, сверкающего драгоценными бриллиантами, снега. Лежит неподвижным боровом лежебока-снег. Проходим мимо мертво лежащих бесхозных железяк – всяческих огромных ржавых труб и вентилях в зарослях пожухлой травы. Напахнуло заброшенной цивилизацией, как в фильме «Сталкер» – у А.Тарковского. Идем дальше вдоль Исети – на островах вся трава выжжена – словно после чернобыльской катастрофы... На левом берегу реки высятся трубы и здания ТЭЦ ШААЗа. Вчера по телевидению показывали, как десятилетие назад случилась атомная катастрофа... В 1986 году. В Чернобыле...

У нас на Урале тоже была авария, только об этом молчали... А мы жили и продолжали жить на отравленной реке...

Пока мы крутили головами по сторонам нас обгоняют три девчонки. Лезут в гору по обширно лежащему снежному насту. «Проверено – мин нет...». И мы за ними. И вот мы у березовой рощи. У так называемых «Межников». Молодые березки светятся нежной нравственно чистой белизной. Заходим в прозрачный лесок. Душа замирает от нежности к этой красоте. Березки дружной ватажкой сбежались по оврагу, будто молодые девушки на весеннем игрище. Чуть перешептываются, улыбаются друг другу, посматривают по сторонам. А некоторые из них, подошли к оврагу совсем близко, даже спустились в него и заглядывают, наклонившись, стараясь увидеть едва заметный ручеек и послушать его почему-то недовольное ворчание. Может потому, что снег почти вымерз от холодов. И лог стал как мертвый – не шумит как обычно в половодье.

Оставшийся снег смерзся, заледенел и лежит на дне лога неподвижной ледяной массой. Искристый ручеек продырявил все-таки дорожку и журчит среди светлых молодых берез, напевая свою тихую весеннюю песенку.

Мы тоже спускаемся в овраг и останавливаемся, разбивая лагерь на хорошо обжитой полянке, укрытой толстым слоем сухой березовой листвы. Юра рассказывает как они с ребятами в начале весны, когда кругом еще лежал снег, провели ночь у костра, наблюдая за кометой. А я признался, что это мое любимое место, где я в одиночестве залечиваю свои «душевные раны»...

Так вот где мы нашли общую точку соприкосновения! Вот где встречались наши души! Еще задолго до того, как мы узнали друг друга. А узнавши, потянулись навстречу, почувствовали родство душ.

Разбили лагерь на закрытой от ветра поляне, возле обрыва. Развели костер. Запах дыма от загоревших листьев и веточек внес душевное успокоение и домашность в безлюдном месте. Подбросили дров потолще. Костер запылал жарче. Прилегли возле него. Вот оно: радость встречи с родной природой, с теплом костра и душевной теплотой единомышленников. Долго, до самого вечера пылал наш костер, согревая тело. Пылал и костер наших помолодевших, возле молодых берез, взволнованных откровениями, душ. И передавалось тепло друг другу. И потеплело на душах...

Ветер к вечеру тоже стих. И, кажется, под напором тепла наших сердец, весна тоже потеплела... Пленки быстро были исцелканы, ожидая своего проявления; томились в фотоаппаратах гениальные кадры весеннего удивления...

РАЗГОВОР С РЕДАКТОРОМ

В честь выхода моей книги «Все пережили» и к моему пятидесятилетию приехал к нам домой в деревню В. Полеву редактор газеты «Авангард» – Петр Всеволодович Суровцев. Видимо, решил написать обо мне статью. Меня дома не было. Я был на работе в художественной школе, в Шадринске. Выспросил мою жену о чем ему хотелось узнать.

Она потом мне признается: «Вот я, болтушка, может я чего лишнего наболтала? Он все выспрашивает. Я отвечаю. Он в твою мастерскую заходил. Посмотрел твои картины. Даже я одну у тебя еще не видела. Это где мы с тобой вдвоем. Я на костылях, а ты с деревянным двоеданским крестом на фоне пейзажа с перевернутым деревенским домом. Это было на похоронах моей мамы в деревне Коврига. Он еще спросил меня: «А почему это дом перевернутый...». Я ответила, что это жизнь наша перевернулась после такой страшной беды... Что со мною приключилась...

Он ушел. А у меня какой-то очень неприятный осадок в душе остался. То ли от того, что лишнего наговорила, то ли от чего другого. Он не сказал, с какой он целью был. А у нас же на хорошее-то не думается. Только на плохое... Может случилось что с тобой? Может он какой компромат на тебя ищет? Вот у меня и закралось нехорошее предчувствие, что он неспроста приходил. Тем более, что расспрашивал о том, как ты с людьми сходишься. Почему такой нелюдимый? Он еще просил тебя зайти в редакцию к нему...».

Тут мы с женой и вовсе в уныние пришли. Если бы он был настоящим корреспондентом, то он бы в первую очередь сказал о цели своего прихода. Спросил бы разрешения на то, что можно ли пытаться человека без его на то согласия? Можно ли врывать в мастерскую без разре-

шения и смотреть неоконченные картины, эскизы? Где же границы дозволенного? Кто он такой, чтоб допрашивать? Следователь или исследователь? Много вопросов осталось у меня после его посещения без ответов...

И что-то сник я... Заболел тяжело. Сначала загрипповал. Потом осложнение на бронхи. И гайморит – в носу сильно заболело. Да еще на работе тяжелый стресс испытал... Отнялась поясница, когда принес две фляги воды из колодца. Полежал с часик и снова с тяжелейшим трудом встал. Надо было мыть полы в комнатах. Еле домыл с горем пополам. Еще надо сводить жену в баню. Кое-как сползали. Я «расписался» совсем...

...И слег надолго. Спину пересекло в трех местах – в левое плечо ударило, возле левой лопатки и в поясницу, а спустилось в левую ногу.

А через неделю меня выписали после гриппа на работу. Субботу и воскресенье еще полежал дома без движения. В понедельник перетянул себя поясом и побрел на автобус. На работе еле-еле высидел до обеда. Ни сидеть, ни стоять не мог. В позвоночнике пламенем жгло невыносимой болью. В обед снова пошел к врачу. По его лицу я прочитал, что я ему ужасно надоел... Он отправил меня к невропатологу. Сходил. Тот давнул мой позвоночник и велел одеваться. Позвоночник долго ныл после этой процедуры. Врач отправил меня обратно к терапевту. Юный доктор терапевт ответил мне примерно так же, как отвечает Леонид Якубович: «Ну, я не знаю, где продаются билеты на викторину «Поле Чудес».

– Ну, я не знаю, – отвечает мне мой доктор-терапевт. – Уже полгода лечу Вас, а толку нет. Пейте одну воду – голодайте. Не ешьте совсем мяса, жиры, маргарины и сладости. Сядьте на диету – ешьте одну капусту и морковку. Закаливайтесь, занимайтесь физкультурой... Не работает у Вас иммунная система... Весь организм зашлакован... У Вас скоро все зубы выпадут... Вот весь мой Вам сказ...

Мне хотелось крикнуть ему в лицо, что если не знаете как лечить, так зачем лечите? Вот какой эскулап нашелся в Шадринске... Направьте меня на обследование в областную поликлинику. Почему-то же я болею? Постоянная слабость, пот глаза заливает. Чуть сквознячок где – я уже простыл. Где-то, видимо, во мне инфекция сидит? И подтачивает организм... То ли это последствия атомной аварии на «Маяке»? Раз организм не может бороться с хворью? (Где-то писали, что размер атомной аварии на «Маяке» в двадцать раз больше, чем в Чернобыле... А нам в то время ничего не говорили... Вот и хлебали и до сих пор хлебаем эту отраву, и не можем всю выхлебать... Государство отравило – пусть государство и лечит... Почему бросило нас на произвол судьбы...).

Чуть-чуть оклемавшись я все таки пришел в редакцию «Авангарда». Петр Всеволодович принял меня радушно. Раздел. Усадил напротив своего стола. Побеседовали. Он рассказал о задании, с которым приезжал к нам. Попросил рассказать мою биографию. Сфотографировал меня. Расстались почти друзьями. Так мне показалось. Через неделю я еще раз забежал в редакцию. Там напечатали мои рассказы «Все пережили».

Еще был объявлен конкурс «Рассказы о природе». Я принес три рассказа (обещали 10 тысяч рублей – первая премия, но что-то прошло тихо... Кто занял первое место – неизвестно).

Петр Всеволодович показал мне свою статью обо мне. О моем мировоззрении неприятно написано. Будто бы я потому такой дикий, что в землянке жил и без отца... И что не слышу – это все и отразилось. Кому нужны мои физические болячки, не говоря о болях душевных... Да и мама будет расстраиваться... Почему-то он не поинтересовался, а что же у меня на душе. О чем она болит и от чего? И что ее мучает? Он дал одну голую биографию – факты... Что добавляет к творчеству? Или что мешает?

Хорошо написал о книге. Видно, что рассказы ему понравились. Намекнул, что не пора ли переходить к человеку от природы. Он рассказал, что будучи молодым, ему советовали, чтобы он вел записи в виде дневника – «Записки молодого редактора районной газеты». Но почему-то у него не получилось. То ли времени всегда не хватало, то ли духу не хватило... Да еще семья. Да и нельзя было публиковать свое мнение... Писать заставляли то, что надо было им – там наверху... Все находились под капэссесовским прессом... Он только горько усмеялся одним движением губ...

– А теперь пишете? – спрашиваю его.

– И сейчас времени нет. Да и здоровье уже не то. 75 исполнилось нынешним летом. Да и все еще работать приходится...

– А по ночам, в выходные? – как я.

Он молчит. Видимо, так не привык. Это же для организма такая нагрузка. Всю жизнь главным редактором «районки» был. Четвертая власть... «У кормушки», – шевелится у меня в голове...

Уже у порога, когда я оделся и собирался уходить, он спросил: «Еще что-нибудь напишите?».

– Да, – отвечаю. – Есть и о человеке.

– Только вот из бабушкиных рассказов у тебя мне не понравилось вот что.

– Что, язык?

– Нет, не язык, а не все так плохо было, как ты описываешь. Я сам был свидетелем коллективизации. Помню.

– Так вот и опишите. Сейчас же гласность. Все могут делиться своими впечатлениями, высказаться о прошлом... Я же написал со слов бабушки, что она видела. И вот меня гнобили за это целых 23 года. Почему? Если все так у нас хорошо? Почему не разрешали это напечатать? Послал в «Шадринскую новь» – но ни ответа, ни привета не последовало. Как в прорву ухнули рукописи...

А моя бабушка как запомнила, так и рассказала. Вот так вот поступали и с ней, и с другими бессловесными... Да многодетными, оставляя их без куска хлеба. Против человека с ружьем не попрешь... У нас же как? Если ты не можешь ответить – то на тебя все шишки. Ты крайний. На ком-то надо отыгаться...

Вот Вы видели более порядочных людей, кто руководил коллективизацией. Потому и говорите, что не все так плохо было. А бабушке пришлось столкнуться с другой ситуацией... Вот и получилось два видения.

Сейчас много пишут, как же все происходило в то время. В Тамбовской губернии даже восстание крестьян было. И как его подавили части Красной Армии... Почти всех поголовно загоняли в колхозы. А не согласных раскулачивали и ссылали... Кто не желал быть стадом...

– Ладно, оставим этот риторический разговор, – свернул Петр Всеволодович. – Заходите еще. А то нам не закончить эту дискуссию никогда.

– До свидания, – грустно попрощавшись, ответил я.

Так мы и расстались каждый со своим мнением... И больше не встречались...

СОДЕРЖАНИЕ

От автора.....	2
Ольга ОСИПОВА.	
Судьба ему была уготована с изломом.....	4
Леонид ОСИНЦЕВ.	
Притягательная книга.....	6
Отчий дом.....	8
Здравствуй, Родина.....	9
В поисках прошлого.....	13
Ночная прогулка.....	16
Иммунитет дедушки.....	20
Пучки да пиканы.....	23
Лето-припасиха.....	24
Айда с Богом.....	26
Места купания.....	29
Банька по-черному.....	32
Реможник.....	34
Встреча с родной стороной.....	36
Маму жалко.....	37
Шалопай.....	38
О друзьях детства.....	41
В молдавском краю.....	44
Медаль.....	50
На прополке.....	51
Пора сенокосная.....	53
Сладкие яблоки.....	58
Птица орел.....	64
Облака-монстры.....	64
Цвела черемуха.....	68

Дождалась!.....	71
Прощайте, белые лебеди.....	74
Контра.....	79
Живы будем - не помрем.....	81
Слезинки весны.....	84
Цветы вдовам.....	85
Родники детства.....	88
Солнечным днем.....	89
Грибная охота.....	90

ИЗ СЕРИИ “Заводские рассказы”

Растут люди.....	93
Жестянщик.....	97
50 лет стажа.....	102

РАССКАЗЫ

Голоса.....	104
Чья-то душа.....	108
Однокашники.....	110
На увалах.....	114
Провинциальные странности.....	117
Купюры.....	139
Королева.....	147
На остановке.....	151
Зэки.....	155
Да, дела.....	158
Как все?.....	161
Чернобыль наших душ.....	165
Вопрос – ответ.....	168
На колокольне.....	171
Сапоги Сталина.....	174

Интервью.....	179
Рефрен и тавтология.....	184
АХЧ.....	189
Кто у нас вместо Брежнева-то?.....	191
Душа народа.....	195
Русская плясовая.....	198
Проза или поэзия?.....	203
Родство душ.....	205
Разговор с редактором.....	209

ДЛЯ ЗАМЕТОК

АЛЕКСЕЙ МЕХОНЦЕВ

РАЙГОРОД

АЙДА С БОГОМ
ПОВЕСТЬ В РАССКАЗАХ

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ
СТРАННОСТИ
РАССКАЗЫ

Сборник издан в авторской редакции
Макет изготовлен
в Курганской областной писательской организации